

pocketbook

Джозеф М. Кутзее

Бесчестье

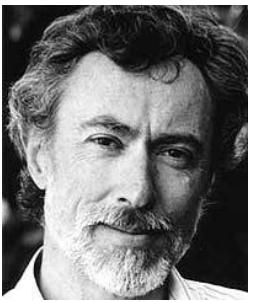
Бесчестье

Джозеф Максвелл Кутзее

Аннотация
Джозеф М. Кутзее. БЕСЧЕСТЬЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Аннотация



Главный герой книги, университетский профессор, из-за скандальной истории со студенткой лишается буквально всего: работы, благорасположения общества… Роман-полемика, ответ Кутзее на вопрос, заданный еще Францем Кафкой: быть или не быть человеку, если жизнь низвела его в глазах окружающих до состояния насекомого, стать ли ему нулем или начать с нуля?

Джозеф Максвелл Кутзее — самый загадочный из всех нобелевских лауреатов, дважды удостоенный Букера и ни разу не явившийся на вручение, посвятивший нобелевскую речь не кому-нибудь, а Робинзону Крузо; человек,

само имя которого долго оставалось загадкой. „Бесчестье“ — возможно, главный роман писателя.

Джозеф М. Кутзее
БЕСЧЕСТЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Для человека его возраста, пятидесятидвухлетнего, разведенного, он, на его взгляд, решил проблему секса довольно успешно. По четвергам, после полудня, он едет в Грин-Пойнт. Ровно в два часа он нажимает кнопку звонка на двери многоквартирного дома Виндзор-Мэншнс, называет свое имя и входит. У двери с номером 113 стоит, поджидая его, Сорайа. Он проходит прямиком в спальню, приятно пахнущую, мягко освещенную, и раздевается. Сорайа появляется из ванной, сбрасывает халат и проскальзывает в постель, под бок к нему.

— Скучал по мне? — спрашивает она.

— Я по тебе все время скучаю, — отвечает он. Он гладит ее не тронутое солнцем медово-смуглое тело; заставляет ее вытянуться рядом с собой, целует ей груди; они любят друг дружку.

Сорайа высока и стройна, с длинными черными волосами и темными, влажными глазами. Строго говоря, он достаточно стар, чтобы быть ей отцом; но с другой стороны, и опять-таки строго говоря, отцом можно стать и в двенадцать. В клиентах

у нее он состоит уже год с лишком; она его более чем устраивает. Четверг обратился в оазис de luxe et volupte[1] посреди недельной пустыни.

В постели Сорайа сдержанна. Она вообще тиха по природе, тиха и послушна. Взгляды ее на удивление моралистичны. Ее раздражают туристки, обнажающие на пляжах грудь („вымя“, как она выражается, говоря о них); она считает, что бродяг следует отлавливать и заставлять мести улицы. Как ей удается сочетать подобные суждения с ее занятием, он не спрашивает.

Поскольку она доставляет ему удовольствие, причем неизменное, он понемногу привязывается к ней. Привязанность эта, как он полагает, в какой-то мере взаимна. Привязанность, возможно, и не любовь, но по крайности двоюродная сестра таковой. А если вспомнить малообещающее начало их связи, то можно сказать, что им улыбнулась удача, обоим: ему повезло найти ее, ей — найти его.

Он сознает, что в чувствах его присутствует самолюбование плюс нечто от супружеской зависимости. Тем не менее он не гонит их прочь.

За полуторачасовой сеанс он платит ей че-

---

[1] notes: Примечания. 1
Роскоши и неги *(фр.). — Здесь* и *далее примеч. пер.*

тыреста рандов, половину которых забирает „Благоразумная спутница“. Жаль, конечно, что „Благоразумной спутнице“ приходится отдавать так много. Но этому агентству принадлежит 113-я квартира, да и другие квартиры Виндзор-Мэншнс; в каком-то смысле ему принадлежит и Сорайа, вот эта ее часть, функциональная.

Одно время он подумывал о том, чтобы попросить ее встретиться с ним в свободное от работы время. Он с удовольствием провел бы с ней вечер, может быть, даже ночь. Но не следующее утро. Он слишком хорошо знает себя, чтобы подвергать Сорайю испытанию утром, — он будет холоден, мрачен, будет изнывать от желания поскорее остаться наедине с собой.

Таков уж его темперамент. Темперамент не переменишь, для этого он слишком стар. Его темперамент определился, установился. Череп, а после темперамент — два самых неподатливых атрибута человека.

Вот и следуй своему темпераменту. Это не философия, „философия“ — слишком высокое слово. Это правило, вроде правил св. Бенедикта[2].

Здоровье у него отменное, голова варит. По

[2] notes: 2

Имеется в виду разработанный св. Бенедиктом Нурсийским (480–543) монастырский устав.

профессии он ученый, филолог, вернее, был им, и филология еще овладевает, пусть и с перерывами, всем его существом. Он живет, не выходя за рамки своего дохода, своего темперамента, своих эмоциональных возможностей. Счастлив ли он? По большинству мерок — да, пожалуй что да. Впрочем, он не забывает о последнем хоре „Эдипа“: *Прежде смерти не называй человека счастливым.*

В сфере секса его темперамент, хоть и не лишенный пылкости, никогда особенной страстностью не отличался. Если бы ему пришлось выбирать для себя тотем, он выбрал бы змею. Как он себе это представляет, его соития с Сорайей смахивают на совокупление двух змей: долгое, сосредоточенное, но отчасти равнодушное, суховатое, даже в самые пылкие минуты.

Интересно, тотем Сорайи — тоже змея? Разумеется, с другими мужчинами она становится другой женщиной: la donna e mobile[3]. И все же на уровне темперамента подделать сходство с ним ей, конечно же, не удалось бы.

При том, что по роду занятий она женщина

---

[3] notes: 3

„Женщина переменчива“ *(итал.)* — цитируются начальные слова песенки Герцога из оперы Дж. Верди „Риголетто“, известные нам как „Сердце красавицы склонно к измене“.

непутевая, он доверяет ей — в определенных пределах. Во время их встреч он разговаривает с ней не без некоторой свободы, иногда даже изливает перед нею душу. Ей известны обстоятельства его жизни. Она выслушала рассказы о двух его браках, знает о его дочери, о превратностях ее судьбы. Она знакома со многими его взглядами.

О своей жизни вне Виндзор-Мэншнс Сорайа не говорит ничего. Сорайа — не настоящее ее имя, в этом он не сомневается. Судя по некоторым признакам, у нее есть ребенок, а то и не один. Возможно, она вовсе и не профессионалка. Она может работать на агентство лишь день-другой в неделю, а в остальное время вести добропорядочную жизнь где-нибудь в пригороде, в Райлэндсе или Атлоне. Не совсем обычно для мусульманки, но в наше время случается всякое.

О своей работе он, не желая нагонять на нее скуку, говорит мало. На жизнь он зарабатывает в Техническом университете Кейпа, бывшем колледже Кейптаунского университета. Некогда профессор кафедры новых языков, он, поскольку кафедры древних и новых языков в ходе большой рационализации закрыли, стал теперь вторым профессором на факультете передачи информации. Как и всем „рационализированным“, ему,

ради укрепления морального состояния, разрешено читать один курс в год по прежней своей специальности — независимо от числа записавшихся на этот курс студентов. В нынешнем году он читает о поэтах-романтиках. А в остальное время ведет занятия по курсу 101 („Основные методы передачи информации“) и 201 („Передовые методы передачи информации“).

Хотя он каждый день уделяет по нескольку часов своей новой дисциплине, первая ее посылка, провозглашенная в учебнике по курсу 101: „Человеческое общество создало язык для того, чтобы мы могли передавать друг другу наши мысли, чувства и намерения“, представляется ему нелепой. По его личному мнению, которое, впрочем, он держит при себе, происхождение речи коренится в пении, а происхождение пения — в потребности заполнить звуками непомерно большую и несколько пустоватую человеческую душу.

За свою растянувшуюся уже на четверть века карьеру он опубликовал три книги, ни одна из которых не вызвала восторженных кликов или хотя бы перешептываний: первая была посвящена опере („Бойто и легенда о Фаусте: генезис Мефистофеля“), вторая — видениям как порожде-

нию эроса („Явление Ричарда святому Виктору“), а третья — Вордсворту и истории („Вордсворт и бремя прошлого“).

Последние несколько лет он подумывает о сочинении, посвященном Байрону. Поначалу ему казалось, что может получиться еще одна книга, еще один критический опус. Но все его попытки подступиться к нему вязли в трясине скуки. Правда состояла в том, что он устал от литературной критики, устал от измеряемой ярдами прозы. Что ему на самом деле хочется написать, так это музыку: „Байрон в Италии“, размышление о любви между полами, поданное в форме камерной оперы.

Пока он ведет занятия по методам передачи информации, в мозгу его мелькают фразы, мелодии, обрывки арий из ненаписанного сочинения. Как преподаватель он никогда особенно не блистал; в теперешнем же преобразованном и, на его взгляд, изуродованном учебном заведении он более чем когда-либо чувствует себя не на месте, хотя, с другой стороны, так же чувствовали себя и его коллеги прежних дней, обремененные образованием, не отвечающим задачам, которые им приходилось решать: клирики пострелигиозного века.

Поскольку он не питает уважения к тому, что преподает, он и не производит никакого впечатления на студентов. Студенты забывают его имя, смотрят, когда он говорит, сквозь него. Их безразличие уязвляет его сильнее, чем он готов признать. Тем не менее он досконально выполняет принятые им на себя обязательства перед ними, их родителями и государством. Месяц за месяцем он дает им домашние задания, собирает письменные работы, прочитывает их и комментирует, исправляя ошибки в пунктуации, правописании и словоупотреблении, оспаривая слабые аргументы, присовокупляя к каждой работе короткие, продуманные критические замечания.

Он продолжает преподавать, потому что это дает ему средства к существованию; и еще потому, что преподавание учит его смирению, открывая ему глаза на то, кто он в этом мире. Ирония происходящего не ускользает от него: тот, кто приходит учить, получает горчайший из уроков, а те, кто пришел учиться, не научаются ничему. Об этой особенности своей профессии он с Сорайей не говорит. Он сомневается, отыщется ли в ее профессии ирония под стать.

На кухне квартирки в Грин-Пойнт есть чайник, пластмассовые чашки, банка растворимого кофе, вазочка с пакетиками сахара. В холодильнике — запас бутылок с водой. В ванной комнате имеются мыло и стопка полотенец, в стенном шкафу — чистое постельное белье. Свою косметику Сорайа держит в небольшом кейсе. Место, предназначенное для любовных утех, ни для чего иного, функциональное, чистое, разумно организованное.

Когда Сорайа в первый раз принимала его, губы ее алели от помады, веки покрывала густая краска. Все это было липким, ему не понравилось, и он попросил ее стереть косметику. Сорайа подчинилась и с тех пор никогда не красилась. Хорошая ученица, сговорчивая, податливая.

Ему нравится делать ей подарки. На Новый год он подарил ей финифтевый браслет, еще как-то раз — малахитовую цапельку, попавшуюся ему на глаза в антикварном магазине. Ее радость, нимало не притворная, доставляет ему наслаждение.

Он сам удивляется тому, что полтора проводимых в обществе женщины часа в неделю делают

его счастливым — его, привыкшего считать, будто он нуждается в жене, в доме, в браке. Оказывается, что в конце-то концов нужды его вполне незатейливы, незатейливы и преходящи, как у бабочки. Никаких эмоций, или, вернее, никаких, кроме самой тайной, самой непредугадываемой: бассо остинато удовлетворенности, подобного убаюкивающему горожанина гулу городского движения или тому, чем является для селянина безмолвие ночи.

Он вспоминает Эмму Бовари, которая, проведя полдня в самозабвенном распутстве, возвращается домой — пресыщенная, с остекленевшими глазами. Так вот оно, блаженство! — говорит Эмма, разглядывая себя в зеркале. Вот блаженство, о котором твердят поэты! Что же, если бы бедной, обратившейся в призрака Эмме удалось каким-то образом отыскать дорогу в Кейптаун, он привел бы ее сюда в один из четвергов, чтобы показать, каким может быть блаженство: умеренное блаженство, умеренное.

Затем в одно субботнее утро все переменяется. У него дела в городе, он идет по улице Св. Георга, и тут глаза его натыкаются в толпе на стройную фигуру. Это Сорайа, ошибиться невозможно, по бокам ее двое детей, два мальчика. Они несут

пакеты: ходили по магазинам.

Поколебавшись, он, не сокращая расстояния, следует за ними. Они входят в „Рыбную харчевню капитана Дорего“. У мальчиков такие же блестящие волосы и темные глаза, как у Сорайи. Это могут быть только ее сыновья.

Он проходит немного дальше, поворачивает назад, во второй раз минует „Капитана Дорего“. Все трое сидят за столиком у окна. На миг взгляд Сорайи встречается сквозь стекло с его взглядом.

Он всегда был городским человеком, чувствующим себя как дома в потоке тел, там, где шествует эрос и взгляды летают, как стрелы. Но об этом обмене взглядами между ним и Сорайей ему сразу же приходится пожалеть.

При свидании в следующий четверг ни он, ни она о случившемся не упоминают. Однако память об этом как-то сковывает их. Он вовсе не желает расстроить ту рискованно двойственную жизнь, которую она, вероятно, ведет. Он целиком и полностью за двойную жизнь, за тройную, за жизнь, состоящую из отдельных отсеков. В сущности, если он что-либо и чувствует, то лишь еще большую нежность к ней. Ему хотелось бы сказать: „Со мной твой секрет в безопасности“.

И все же и ему и ей не удается выбросить слу-

чившееся из головы. Ее мальчики здесь, рядом, играют тихо, как тени, в углу комнаты, в которой их мать совокупляется с незнакомым мужчиной. В объятиях Сорайи он становится — на миг — их отцом: приемным отцом, отчимом, отцом-призраком. После, вылезая из постели, он чувствует, как глаза их украдкой с любопытством шарят по нему.

Мысли его невольно обращаются к другому отцу, настоящему. Имеет ли он хоть отдаленное представление о том, чем она занимается, или предпочитает блаженство неведения?

У самого у него сына нет. Детство его прошло в семье, состоящей из женщин. Мать, тетки, сестры — все они покидали его, сменяясь, как то и положено, любовницами, женами, дочерью. Всегдашнее женское общество сделало его женолюбом, пожалуй, даже бабником. При его росте, при крепком его костяке, оливковой коже, волнистых волосах он всегда мог рассчитывать на некоторую свою притягательность. Если он определенным образом, с определенным намерением смотрел на женщину, она отвечала ему — уж на это-то он мог положиться — таким же взглядом. Так он и жил — годами, десятилетиями, — и все это стало становым хребтом его существования.

И в один прекрасный день все кончилось. Могущество оставило его, не предупредив. Взгляды, которыми ему некогда отвечали, теперь скользили по нему — мимо, сквозь. Он вдруг обратился в призрака. Если он желал женщину, ему приходилось добиваться ее, а чаще — покупать, тем или иным способом.

Он жил в хлопотной спешке промискуитета. Заводил романы с женами коллег, снимал в прибрежных барах или в Итальянском клубе туристок, спал с проститутками.

Знакомство с Сорайей произошло в тусклой маленькой гостиной, смежной с главной конторой „Благоразумной спутницы“, — подъемные жалюзи, горшечные растения по углам, душок застоялого дыма. В их каталоге она проходила по разряду „Экзотика“. Фотограф изобразил ее с красным цветком страстоцвета в волосах и чуть приметными морщинками в уголках глаз. Заголовок гласил: „Только после полудня“. Это и решило дело: обещание зашторенных комнат, прохладных простыней, захватывающих часов.

С самого начала все сложилось точно так, как он хотел. Выстрел „в десятку“. Целый год у него не было нужды снова обращаться в агентство.

И вот этот случай на улице Св. Георга и по-

следовавшая за ним отчужденность. Сорайа выдерживала условленное расписание, но он ощущал в ней растущую холодность, она превращалась в еще одну, очередную женщину и его превращала в очередного клиента.

Он довольно точно представлял себе разговоры проституток о постоянных клиентах, в особенности пожилых. Как они рассказывают друг дружке разные разности, посмеиваются и как их все-таки передергивает — точно человека, увидевшего посреди ночи таракана в раковине умывальника. Очень скоро и сам он с беспощадным изяществом обратится в такого вот таракана. Это судьба, которой ему не избежать.

В четвертый четверг после той встречи Сорайа, когда он покидает квартиру, произносит слова, к которым он так старался себя подготовить:

— У меня заболела мать. Придется прерваться, я должна побыть с ней. На следующей неделе меня здесь не будет.

— А через неделю?

— Не уверена. Зависит от ее самочувствия. Ты лучше сначала позвони.

— У меня же нет номера.

— Позвони в агентство. Я им сообщу.

Он ждет несколько дней, потом звонит в

агентство. Сорайа? Сорайа от нас ушла, говорит мужской голос. Нет, связать вас с ней мы не можем, это против правил. Может, познакомитесь с какой-нибудь другой нашей сотрудницей? У нас большой выбор экзотических дам — малайки, тайки, китаянки, вы только скажите, кто вам нужен.

Он проводит с другой Сорайей — похоже, имя „Сорайа“ приобрело популярность в качестве nom de commerce[4] — вечер в номере отеля на Лонг-стрит. Этой не больше восемнадцати, она неумела и, на его взгляд, вульгарна.

— Так чем ты занимаешься? — спрашивает она, раздеваясь.

— Экспорт-импорт, — отвечает он.

— Ну да, заливай, — говорит она.

На кафедре появляется новая секретарша. Он везет ее на ланч в ресторан, находящийся на благопристойном расстоянии от университетского городка, и слушает за креветочным салатом, как она жалуется на школу, в которой учатся ее сыновья. Торговцы наркотиками так и рыщут вокруг спортивных площадок, говорит она, а полиции хоть бы хны. Они с мужем уже три года стоят

---

[4] notes: 4
Торговой марки *(фр.)*.

на учете в новозеландском консульстве, хотят эмигрировать.

— Вам-то было легче. Ну то есть какой бы ни была ситуация, вы хоть понимали, что к чему.

— Нам? — переспрашивает он. — Кому это „нам“?

— Ну, вашему поколению. А теперь люди просто выбирают, какие законы они согласны выполнять. Это же анархия. Как тут растить детей, когда крутом сплошная анархия?

Дон, так ее зовут. При втором свидании они заглядывают к нему домой и оказываются в постели. Извиваясь, впиваясь в него ногтями, только что пену изо рта не пуская, она доводит себя до возбуждения, которое в конце концов становится ему противным. Он одалживает ей расческу, отвозит назад, в университетский городок.

В дальнейшем он избегает ее, стараясь обходить стороной кабинет, в котором она работает. В ответ она бросает на него сначала обиженные, а после презрительные взгляды.

Пора кончать, довольно этих игр. Интересно, в каком возрасте Ориген[5] себя оскопил? Не самое изящное из решений, но ведь и в старении изящ-

---

[5] notes: 5

Ориген (185–254) — христианский богослов и философ, родившийся и живший в Александрии, затем в Палестине.

ного мало. По крайности, похоже на приведение в порядок письменного стола, позволяющее сосредоточиться на том, чем и следует заниматься старику, — на приготовлении к смерти.

Можно ли обратиться с подобной просьбой к врачу? Операция-то довольно простая: врачи каждый день практикуются в ней на животных, и те переживают ее как ни в чем не бывало, если оставить в стороне некий горький осадок. Оттяпал, перевязал: при местном обезболивании, твердой руке и малой доле бесстрастия можно управиться и самому, по учебнику. Мужчина садится в кресло и — чик; зрелище не из красивых, но, с определенной точки зрения, чем уж оно некрасивей зрелища того же мужчины, ерзающего на женском теле?

Осталась еще Сорайа. Вообще-то, ему следует перевернуть эту страницу. Вместо того он обращается в детективное агентство с просьбой найти ее. Через несколько дней он получает ее настоящее имя, адрес, номер телефона. И звонит в девять утра, когда мужа с детьми, надо полагать, уже нет дома.

— Сорайа? — говорит он. — Это Дэвид. Как ты? Когда я тебя снова увижу?

Долгое молчание, потом она произносит:

— Я вас не знаю. Зачем вы лезете в мою жизнь? Я требую, чтобы вы никогда больше мне не звонили, никогда.

Требую. Скорей уж *приказываю.* Его удивляет визгливость, проступившая в ее тоне, — прежде на нее и намека не было. С другой стороны, чего еще ждать хищнику, влезшему к лисице в нору, в жилище ее щенков?

Он кладет телефонную трубку. Что-то вроде зависти к ее мужу, которого он ни разу не видел, ненадолго стесняет его сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Без четверговых интерлюдий неделя гола как пустыня. Выпадают дни, когда он не знает, чем себя занять.

Теперь он проводит больше времени в университетской библиотеке, читая все, что удается найти, о широком круге друзей и знакомых Байрона, добавляя заметки к тем, что уже заполнили две толстые папки. Ему нравится послеполуденное спокойствие читального зала, нравится неторопливо возвращаться под вечер домой: бодрящий зимний ветер, мерцающие мокрые улицы.

В пятницу вечером, возвращаясь длинным кружным путем — по паркам старого колледжа, он замечает впереди себя на дорожке одну из своих студенток. Ее зовут Мелани Исаакс, она слушает его посвященный романтикам курс. Не лучшая студентка, однако и не худшая: довольно умная, но без собственных мыслей.

Она не спешит, и скоро он настигает ее.

— Привет, — говорит он.

Она улыбается в ответ, кивает, улыбка ее скорее

лукава, чем робка. Она маленькая, тоненькая — коротко подстриженные черные волосы, широкие, почти китайские скулы, большие темные глаза. Одевается, как правило, броско. Сегодня на ней темно-бордовая мини-юбка, горчичного цвета свитер и черные колготки; золотые финтифлюшки на поясе подобраны в тон золотым шарикам серег.

Он немного влюблен в нее. Тут нет ничего необычного: почти каждый семестр он влюбляется в ту или иную из своих подопечных. Кейптаун — город, щедрый на красоту, на красавиц.

Знает ли она, что он положил на нее глаз? Вероятно. Женщины чувствуют такие вещи, давление вожделеющих взглядов.

Только что кончился дождь; в канавах вдоль дорожки негромко журчит вода.

— Мое любимое время года и любимое время дня, — сообщает он. — Живете тут неподалеку?

— У самого парка. Делю квартиру с подружкой.

— Кейптаун родной ваш город?

— Нет, я выросла в Джордже.

— Я живу совсем рядом. Могу я пригласить вас выпить?

Пауза, осторожная.

— Хорошо. Но я должна вернуться к семи трид-

цати.

Из парка они выходят в тихий жилой квартал, в котором он прожил последние двенадцать лет, сначала с Розалиндой, потом, после развода, один.

Он отпирает калитку, отпирает дверь, вводит девушку в дом. Включает свет, берет у нее сумочку. В волосах ее капли дождя. Искренне очарованный, он оглядывает ее. Мелани, с той же, что прежде, уклончивой, а может быть, и кокетливой улыбкой, опускает глаза.

На кухне он открывает бутылку „Мирласта“, раскладывает по тарелкам крекеры, сыр. Когда он возвращается, девушка стоит у книжных полок и, склонив голову набок, читает названия. Он включает музыку: Моцарт, кларнетный квинтет. Вино, музыка: ритуал, который разыгрывают мужчина и женщина. Ничего дурного в таких ритуалах нет, их придумали для того, чтобы разряжать неловкость. Но девушка, которую он привел домой, не просто моложе его на тридцать лет — это студентка, его студентка, находящаяся под его опекой. Что бы сейчас между ними ни произошло, им придется встретиться снова как учителю и ученице. Готов ли он к этому?

— Как вам мой курс? — спрашивает он.

— Мне нравится Блейк. И еще „Wonderhorn“.

— „Wunderhorn“[6].

— А от Вордсворта я не в восторге.

— Вам не следовало бы говорить мне об этом.

Вордсворт был одним из моих учителей. Это правда. Сколько он себя помнит, в нем всегда отзывалось эхо гармоний „Прелюдии“.

— Может быть, под конец курса мне удастся лучше его оценить. Может быть, он начнет нравиться мне больше.

— Может быть. Но по моему опыту, поэзия либо что-то говорит вам с первого раза, либо не говорит ничего. Проблеск откровения, проблеск отклика на него. Это как молния. Как приход влюбленности.

Приход влюбленности. Да влюбляются ли еще молодые люди или этот механизм уже устарел, стал ненужным, чудноватым, как паровые машины? Он не в курсе, отстал от времени. Почем знать, влюбленность могла полдюжины раз выйти из моды и снова в нее войти.

— Вы-то сами стихов не пишете? — спрашивает он.

---

[6] notes: 6

Имеется в виду „Des Knaben Wunderhorn“ („Волшебный рог мальчика“), антология немецких народных и стилизованных под таковые песен, впервые вышедшая в Гейдельберге в 1806–1808 гг.

— В школе писала. Так себе были стишата. Теперь и времени не хватает.

— А пристрастия? Есть у вас какие-нибудь литературные пристрастия?

При звуке этого непривычного слова она сдвигает брови.

— На втором курсе мы занимались Адриенной Рич[7] и Тони Моррисон[8]. И еще Элис Уокер[9]. Мне было очень интересно. Но пристрастием я бы это не назвала.

Так, девушка без пристрастий. Или она окольным способом предупреждает его: не лезь?

— Я думаю соорудить некое подобие ужина, — говорит он. — Присоединитесь ко мне? Все будет очень незамысловато.

Похоже, ее одолевают сомнения.

— Ну же! — говорит он. — Скажите „да“!

— Хорошо. Только мне придется позвонить.

Звонок отнимает времени больше, чем он ожидал. Он вслушивается из кухни в ее приглу-

---

[7] notes: 7

Адриенна Рич (р. 1929) — американская поэтесса, феминистка.

[8] notes: 8

Тони Моррисон (р. 1931) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993).

[9] notes: 9

Элис Уокер (р. 1944) — американская писательница, феминистка.

шенный голос, в долгие паузы.

— Чем вы собираетесь заниматься в дальнейшем? — спрашивает он несколько погодя.

— Актерским мастерством и оформлением сцены. Я пишу диплом о театре.

— Тогда по какой причине вы записались на курс романтической поэзии?

Мелани, наморщив носик, задумывается.

— Главным образом из-за атмосферы, — говорит она. — Не хотелось снова браться за Шекспира. Шекспира я проходила в прошлом году.

То, что он сооружает на ужин, и впрямь незамысловато. Тальятелли[10] с анчоусами под грибным соусом. Он позволяет ей нарезать грибы. Остальное время она сидит на стуле, наблюдая, как он стряпает. Они едят в гостиной, открыв вторую бутылку вина. Ест она без удержу. Здоровый аппетит — для столь стройного существа.

— Вы всегда сами готовите? — спрашивает она.

— Я живу один. Не буду готовить я, так и никто не будет.

— Терпеть не могу готовку. Хотя, наверное, стоило бы научиться.

---

[10] notes: 10
Вид лапши.

— Зачем? Если она вам так не по душе, выходите за умеющего готовить человека.

Вдвоем они мысленно созерцают эту картину: молодая жена в аляповатом платье и безвкусных драгоценностях, нетерпеливо потягивая носом воздух, влетает в квартиру; на кухне в клубах пара муж, бесцветный мистер Праведник, помешивает что-то в кастрюльке. Обмен ролями: хлеб буржуазной комедии.

— Ну, вот и все, — говорит он под конец, когда блюдо с едой пустеет. — И никакого десерта, разве что вам захочется съесть яблоко или немного йогурта. Простите — не знал, что у меня будет гостья.

— Все было очень мило, — говорит она, допивая вино и вставая. — Спасибо.

— Не уходите так сразу, — он берет ее за руку и подводит к софе. — Я хочу кое-что показать вам. Вы любите танцы? Не танцевать — танцы.

Он вставляет кассету в видеомагнитофон.

— Это фильм, снятый человеком, которого звали Норман Макларен[11]. Довольно старый. Подвернулся мне в библиотеке. Интересно, что вы о нем скажете.

---

[11] notes: 11

Норман Макларен (1914–1987) — канадский режиссер, главным образом мультипликатор, авангардистского толка.

Сидя бок о бок, они смотрят фильм. Два танцора на голой сцене исполняют свои па. Снятые стробоскопически, их изображения, призраки их движений, веерами распускаются за ними, будто крылья на взмахе. Впервые увиденный четверть века назад, этот фильм по-прежнему захватывает его: миг настоящего и недолговечное прошлое этого мига, застигнутые в одном и том же пространстве.

Ему хочется, чтобы фильм захватил и девушку. Однако он чувствует, что этого не происходит.

Когда фильм кончается, она встает и проходится по комнате. Поднимает крышку пианино, ударяет по срединному *до.*

— Играете? — спрашивает она.

— Немного.

— Классику или джаз?

— Увы, не джаз.

— Сыграете мне что-нибудь?

— Не сейчас. Давно не упражнялся. В другой раз, когда мы познакомимся поближе.

Мелани заглядывает в кабинет.

— Можно посмотреть? — спрашивает она.

Он ставит новую запись: сонаты Скарлатти, музыка-кошка.

— Как у вас много Байрона, — говорит она, вы-

ходя. — Ваш любимый поэт?

— Я кое-что сочиняю о нем. О его итальянском периоде.

— Он ведь умер молодым?

— В тридцать шесть. Они все умирали молодыми. Или выдыхались. Или сходили с ума, и их сажали под замок. Но Байрон умер не в Италии. В Греции. В Италию он уехал, спасаясь от скандала, а потом обосновался в ней. Осел. У него там приключилась последняя в его жизни большая любовь. В то время у англичан было принято ездить в Италию. Они считали, что итальянцы все еще сохраняют естественность. В меньшей степени скованные условностями, более страстные.

Мелани еще раз обходит комнату.

— Это ваша жена? — спрашивает она, задержавшись перед стоящей на кофейном столике фотографией в рамке.

— Мать. Снято, когда она была молодой.

— Вы женаты?

— Был. Дважды. Теперь нет.

Он не говорит: „Теперь я довольствуюсь тем, что подвернется“. Не говорит: „Теперь я довольствуюсь шлюхами“.

— Хотите ликера?

Ликера Мелани не хочет, но соглашается доба-

вить немного виски в кофе. Когда она подносит чашку к губам, он склоняется над нею и касается ее щеки.

— Вы очень красивы, — говорит он. — Надо будет подбить вас на какой-нибудь опрометчивый поступок. — Он снова прикасается к ее щеке. — Оставайтесь. Проведите со мной ночь.

Поверх чашки она бросает на него твердый взгляд.

— Зачем?

— Затем, что это ваш долг.

— Почему долг?

— Почему? Потому что красота женщины не может принадлежать только ей одной. Это часть дара, который она приносит в мир. Так что она обязана этим даром делиться.

Рука его так и покоится на ее щеке. Она не отстраняется, но и покорности не выказывает.

— А что если я уже им делюсь? — Звук ее голоса позволяет заподозрить, что у нее перехватило дыхание. Когда за тобою ухаживают, это всегда волнует: приятно волнует.

— Тогда вам следует делиться им более щедро.

Гладкие слова, старые, как само обольщение. И все же в этот миг он верит в них. Мелани не принадлежит себе. Красота себе не принадлежит.

— От всех творений мы потомства ждем, — говорит он, — чтоб роза красоты не увядала[12].

Не самый удачный ход. Ее улыбка лишается шаловливости, живости. Пентаметр, чей ритм был некогда столь дивной смазкой для слов змия-искусителя, теперь лишь отпугивает. Он снова обратился для Мелани в преподавателя, человека книжного, хранителя культурного наследия. Она ставит чашку на столик.

— Пора, меня ждут.

Облака разошлись, блещут звезды.

— Прелестная ночь, — говорит он, отпирая калитку. Девушка не поднимает глаз к его лицу. — Проводить вас до дома?

— Нет.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Протянув руки, он поворачивает Мелани к себе. На миг он ощущает напор ее маленьких грудей. Потом она выскальзывает из его объятий и уходит.

---

[12] notes: 12
Начало первого сонета У. Шекспира (Пер. с англ. А. Финкеля).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На том бы ему и остановиться. Ан нет. В воскресенье утром он едет в пустой университетский городок, проникает в канцелярию факультета. Отыскивает в шкафу с регистрационными записями карточку Мелани Исаакс и выписывает оттуда подробности: домашний адрес, адрес в Кейптауне, номер телефона.

Он набирает номер. Отвечает женский голос.

— Мелани?

— Сейчас позову. А кто это?

— Скажите ей, что звонит Дэвид Лури.

Melanie — melody: притянутая за уши рифма. Не подходит ей это имя. Переставь ударение: Melani — темная.

— Алло?

В одном этом слове он слышит всю ее нерешительность. Слишком молода. Не знает, как с ним обходиться; лучше бы ему отпустить ее. Но он и сам пребывает во власти непонятно чего. Роза красоты: стихи бьют точно в цель, как стрела. Она не принадлежит себе; возможно, и он себе не принадлежит.

— Я подумал, может быть, вы захотите позавтракать со мной, — говорит он. — Я бы заехал за вами, ну, скажем, в двенадцать.

У нее еще остается возможность наврать что-нибудь, увильнуть. Но она в таком замешательстве, что упускает подходящий момент.

Когда он подъезжает к ее многоквартирному дому, Мелани уже ждет его на тротуаре. В черных колготках и черном свитере. Бедра узкие, как у двенадцатилетней девочки.

Он везет Мелани в Хат-бэй, к гавани. И по дороге старается растормошить ее, избавить от смущения. Расспрашивает о том, какие еще курсы она слушает. Она говорит, что играет в пьесе. Это одно из условий защиты диплома. Репетиции съедают кучу времени, говорит она.

В ресторане она почти не ест, хмуро глядит на море.

— Что-нибудь не так? Не хотите мне рассказать?

Она качает головой.

— Вас тревожат наши отношения?

— Может быть, — говорит она.

— Ну и напрасно. Не беспокойтесь. Я не позволю им зайти слишком далеко.

Слишком далеко… Что в таких случаях значит

„далеко“ и что — „слишком далеко“? И похоже ли ее „слишком далеко“ на его?

Начинается дождь: водная пелена гуляет по пустому заливу.

— Ну что, поехали? — говорит он.

Он привозит ее к себе домой. На полу гостиной, под звуки бьющего в оконное стекло дождя, он овладевает ею. У нее чистое, простое, по-своему совершенное тело; и хотя она так и остается пассивной, происходящее доставляет ему такое наслаждение, что в миг оргазма он валится в опустошенное забытье.

Когда он приходит в себя, дождя уже не слышно. Девушка — брови чуть насуплены, глаза закрыты — лежит под ним, вяло закинув руки за голову. Его ладони покоятся под ее грубой вязки свитером, на грудях. Колготки и трусики Мелани валяются, сплетясь, на полу; его брюки спущены ниже колен. „После бури“, — думает он: чистой воды Жорж Грос[13].

Отворачивая лицо, она высвобождается, собирает одежду и выходит из комнаты. И через несколько минут возвращается одетая.

— Мне нужно идти, — шепчет она.

---

[13] notes: 13

Жорж Грос (1893–1959) — немецкий график и живописец, с 1932 г. работал в Америке.

Он не пытается ее удержать.

На следующее утро он просыпается с ощущением полного блаженства, которое не покидает его и в дальнейшем. Мелани на занятиях отсутствует. Из своего кабинета он звонит в цветочный магазин. Розы? Нет, пожалуй, не розы. Он заказывает гвоздики.

— Красные или белые? — спрашивает женщина.

Красные? Белые?

— Пошлите двенадцать розовых, — говорит он.

— У меня нет двенадцати розовых. Может быть, послать разные?

— Ну пошлите разные.

Весь вторник из тяжелых туч, наползающих с запада на город, льет дождь. В конце дня, пересекая вестибюль здания, в котором находится факультет передачи информации, он замечает Мелани, ждущую вместе с горсткой студентов в дверях, когда поутихнет ливень. Он подходит к ней сзади, кладет руку ей на плечо.

— Подождите меня здесь, — говорит он. — Я подвезу вас до дома.

Он возвращается с зонтом. Переходя площадь по направлению к парковке, он прижимает ее к себе, чтобы укрыть от дождя. Внезапный порыв

ветра выворачивает зонт наизнанку; они вдвоем неловко бегут к машине.

На ней блестящий желтый дождевик; в машине она надвигает капюшон на лоб. Лицо ее разрумянилось; он и не глядя видит, как вздымается и опускается ее грудь. Она слизывает дождевую каплю с верхней губы. „Дитя! — думает он. — Не более чем дитя! И что я делаю?“ Но сердце его, охваченное желанием, бьется неровными толчками.

Они едут в густом предвечернем потоке машин.

— Я вчера скучал по тебе, — говорит он. — У тебя все нормально?

Она не отвечает, просто смотрит на дворники. Остановившись на красный свет, он берет ее холодную ладонь в свою.

— Мелани! — говорит он, стараясь произнести это как можно небрежней. Но он давно уже разучился ухаживать за девушками. Голос, который он слышит, принадлежит притворно-ласковому родителю, не влюбленному.

Он тормозит перед ее многоквартирным домом.

— Спасибо, — говорит Мелани, открывая дверцу машины.

— Ты не пригласишь меня к себе?

— Я думаю, моя соседка дома.

— А как насчет сегодняшнего вечера?

— Вечером у меня репетиция.

— Так когда я снова тебя увижу?

Она не отвечает.

— Спасибо, — повторяет она и выскальзывает из машины.

В среду она сидит в аудитории, на своем обычном месте. Они все еще занимаются Вордсвортом, шестой книгой „Прелюдии“ — поэт в Альпах.

— С нагой гряды, — громко читает он, — мы зрили в первый раз

Открытый пик Монблана, приуныв,

Что сей бездушный образ посягнул

На мысль живую, коей никогда

Живой уже не быть.

Вот так. Величественная белая гора, Монблан, становится причиной разочарования. Почему? Давайте начнем с глагола „посягнул“. Кто-нибудь посмотрел его в словаре? Молчание.

— Если бы вы заглянули в словарь, вы узнали бы, что „посягать“ означает „покушаться“, „притязать“. Совершенный вид этого глагола — „посягнуть“. Тучи расходятся, говорит Вордсворт, пик открывается, и мы с унынием глядим на него.

Странная реакция для человека, путешествующего по Альпам. Откуда это уныние? Оттуда, говорит он, что бездушный образ, не более чем отпечаток на сетчатке глаза, покушается на то, что было некогда живой мыслью. Но в чем состояла эта живая мысль?

Опять молчание. Самый воздух, разносящий его слова, обмяк, точно парус. Человек глядит на гору: почему, мысленно жалуются они, это нужно так усложнять? Что он им может ответить? А что он сказал Мелани в тот первый вечер? Что без проблеска откровения не существует ничего. Но присутствует ли в этой комнате проблеск откровения?

Он бросает на нее быстрый взгляд. Голова девушки склонена, Мелани углубилась в текст, так это, во всяком случае, выглядит.

— То же самое слово „посягать“ вновь возникает через несколько строк. Посягательство — одна из наиболее глубоких тем альпийских эпизодов поэмы. Великие архетипы разума, чистые идеи, испытывают посягательства со стороны простых чувственных образов.

Но не можем же мы день за днем жить в царстве чистых идей, отгородившись от чувственного опыта. Вопрос не в том, как нам сохранить

чистоту воображения, защититься от натиска действительности. Вопрос должен ставиться так: можно ли найти для того и другого способ сосуществования?

Взгляните на пятьсот девяносто девятую строку. Вордсворт пишет о границах чувственного восприятия. Этой темы мы с вами уже касались. Когда органы чувств достигают предела своих возможностей, их способность к восприятию начинает угасать. И все же в самый миг исчезновения эта способность вспыхивает в последний раз, точно пламя свечи, на миг позволяя нам узреть незримое. Это трудное место, возможно, оно даже противоречит тому, что сказано о Монблане. И тем не менее Вордсворт, похоже, нащупывает путь к гармонии: не чистая идея, витающая в облаках, не выжженный на сетчатке зрительный образ, ошеломляющий и разочаровывающий нас своей прозаичной ясностью, но сохраняемое сколько возможно эфемерным чувство-образ как средство возбуждения, активизации идеи, которая лежит, глубоко схороненная, в почве нашей памяти.

Он замолкает. Никто ничего не понял. Он зашел слишком далеко и сделал это слишком быстро. Как возвратить их к себе? Как вернуть Мелани?

— Это вроде любви, — говорит он. — Конечно, если вы слепы, вам навряд ли вообще удастся влюбиться. Но так ли уж вы хотите увидеть любимую со всей ясностью, какую способен обеспечить ваш зрительный аппарат? Быть может, для вас же лучше будет опустить между нею и вашим взглядом завесу, чтобы возлюбленная ваша и дальше жила в ее архетипическом облике, в облике богини?

На Вордсворта это смахивает мало, но хотя бы он их растормошил. „Архетипы? — спрашивают они себя. — Богини? Что он несет? Что знает этот старик о любви?“

Наплывает воспоминание: тот миг на полу, когда он, задрав на ней свитер, обнажил ее ладные, совершенные маленькие груди. Мелани впервые поднимает взгляд и мгновенно понимает все. Смутившись, она отводит глаза.

— Вордсворт пишет об Альпах, — говорит он. — У нас в стране Альп нет, но есть Драконовы горы, есть, хоть она и поменьше, Столовая гора, и мы забираемся туда вслед за поэтами, надеясь достичь одного из их озарений. Нам всем приходилось слышать о вордсвортовских мгновениях. — Теперь он просто произносит первые попавшиеся слова, закругляясь. — Но мгновения, подобные

этим, не придут к нам, пока мы не научимся краем глаза посматривать на великие архетипы воображения, которые носим в себе.

Ну хватит! Его уже тошнит от звука собственного голоса, да и ее, вынужденную выслушивать эти завуалированные интимности, тоже стоит пожалеть. Он отпускает студентов, задерживаясь в надежде перемолвиться с нею хоть словом. Однако она ускользает в общей толпе.

Неделю назад она была не более чем одним из смазливеньких личиков в аудитории. Теперь она — сила, вторгшаяся в его жизнь, живящая сила.

В зале студенческого союза темно. Незамеченный, он садится в заднем ряду. Если не считать лысеющего человека в форме уборщика, сидящего впереди, через несколько рядов, он — единственный зритель.

Репетируется пьеса под названием „Салон Глобус в часы заката“: комедия о новой Южной Африке; действие разворачивается в парикмахерском салоне в Хиллброу, Йоханнесбург. На сцене парикмахер, расфуфыренный малый, обслуживает двух клиентов, черного и белого. Все трое болтают между собой: шуточки, выпады. Основу катарсиса составляет, по-видимому, один главенствующий принцип: все закоснелые ста-

рые предрассудки вытаскиваются на свет божий и уносятся порывами смеха. На сцене появляется четвертый персонаж — девушка в туфлях на высокой платформе и с завитыми в колечки волосами. „Присаживайтесь, дорогуша, я вас мигом обслужу“, — говорит парикмахер. „Я насчет работы, — говорит девушка, — по объявлению“. У нее подчеркнуто капский выговор; это Мелани. „А, тогда бери половую щетку и покажи, на что ты способна“, — говорит парикмахер.

Она берет щетку и, толкая ее перед собой, бродит среди декораций. Щетка запутывается в электрическом проводе. Тут должна быть вспышка с последующими воплями и суматохой, однако что-то не заладилось с синхронизацией. Женщина-режиссер выходит на сцену, следом плетется молодой человек в черной коже, который тут же начинает ковыряться в стенной розетке. „Живее нужно, живее, — говорит режиссер, — чтобы больше походило на братьев Маркс“. Она поворачивается к Мелани. „Идея понятна?“ Мелани кивает.

Сидящий впереди уборщик встает и с тяжелым вздохом покидает зал. И ему бы следовало уйти. Слыханное ли дело — сидеть в темноте, подглядывая за девушкой (незваное слово „вожделея“

приходит к нему). И все же старики, чье общество ему, похоже, вот-вот предстоит разделить, — старики, бесцельно слоняющиеся по улицам в покрытых пятнами плащах, с трещинами в фальшивых зубах и пучками волос в ушах, — все они были некогда детьми Божьими, со стройными членами и ясными глазами. Можно ль винить их за то, что они до последнего цепляются за свое место на сладостном пиршестве чувств?

На сцене возобновляется действие. Мелани тычется туда-сюда со щеткой. Хлопок, вспышка, встревоженные вопли. „Не виноватая я! — пищит Мелани. — Господи! Почему как чего, так сразу я виноватая?“ Он тихо встает и следом за уборщиком уходит в наружную тьму.

На следующий день, в четыре пополудни, он приезжает к ней домой. Дверь открывает Мелани — в мятой футболке, велосипедных шортах и шлепанцах в виде сусликов, какими их изображают в комиксах, на его взгляд глупых, безвкусных.

Он приехал без предупреждения; девушка слишком удивлена, чтобы сопротивляться свалившемуся ей на голову незваному гостю. Когда он заключает ее в объятия, руки ее повисают, как у марионетки. Слова, тяжелые как дубинки, глухо гудят в нежной раковинке ее уха.

— Нет, не сейчас! — говорит она. — Вот-вот вернется кузина!

Но его уже не остановить. Он несет девушку в спальню, срывает нелепые шлепанцы, целует ее ступни, сам изумляясь чувствам, которые она в нем пробуждает. Чувства эти как-то связаны с призраком, виденным им на сцене: парик, вихлястый задок, вульгарная речь. Странная любовь! Но и в ней есть нечто от трепета Афродиты, богини пенистых валов, тут сомневаться не приходится.

Мелани не сопротивляется. Только отстраняется — отводит губы, отводит глаза. Она позволяет ему уложить ее на кровать и даже помогает ему, поднимая руки, затем бедра. Легкий озноб сотрясает ее; едва оголясь, она, как крот в нору, ныряет под стеганое одеяло и поворачивается к нему спиной.

Не изнасилование, не совсем оно, и все-таки он нежеланен, нежеланен до мозга костей. Она словно бы решила застыть на то время, пока все это длится, внутренне умереть, подобно кролику, когда на его шее смыкаются лисьи зубы. Чтобы все, что с ней делают, делалось, так сказать, вдали от нее.

— Вот-вот вернется Полин, — говорит она, когда

все кончается. — Ты должен уйти. Пожалуйста.

Он подчиняется, и уже у машины на него наваливается такое уныние, такое отупение, что какое-то время он, неспособный пошевелиться, сидит, привалившись к рулю.

Ошибка, огромная ошибка. В эти мгновения Мелани, несомненно, старается очиститься от происшедшего, очиститься от него. Он так и видит ее бегущей к ванне, вступающей с закрытыми, точно у лунатички, глазами в воду. Он и сам был бы не прочь погрузиться сейчас в свою ванну.

Женщина с коротковатыми ногами, в строгом деловом костюме, пройдя мимо него, входит в дом. Это и есть кузина Полин, с которой Мелани делит квартиру и чьего неодобрения так трусит? Встряхнувшись, он отъезжает от дома.

Назавтра она на занятиях отсутствует. Что весьма неудачно, поскольку это день обязательного в середине семестра экзамена. Заполняя после занятий журнал, он помечает ее как присутствовавшую и выставляет оценку — семьдесят баллов. Внизу страницы он помечает для себя карандашом: „Предварительная“. Семьдесят — оценка середнячка, ни хорошая, ни дурная.

Отсутствует она и всю следующую неделю. Вре-

мя от времени он звонит ей по телефону, никто не отвечает. Затем в воскресенье, в полночь, раздается звонок в дверь. Это Мелани, с ног до головы одетая в черное, в черной вязаной шапочке. Лицо ее напряжено, он ждет резких слов, сцены.

Но сцены не следует. На самом-то деле это она испытывает смущение.

— Можно я сегодня переночую здесь? — спрашивает она, избегая его взгляда.

— Конечно, конечно. — Облегчение переполняет его сердце. Он тянется к ней, обнимает, прижимает к себе, застывшую, окаменелую. — Входи, я заварю тебе чаю.

— Нет, чаю не надо, ничего не надо, я очень устала, мне бы просто где-нибудь упасть.

Он стелет ей в бывшей комнате дочери, целует ее на ночь и уходит. Вернувшись через полчаса, он обнаруживает Мелани, так и не раздевшуюся, крепко спящей. Он снимает с нее туфли и укрывает ее.

В семь утра, когда начинают щебетать первые птицы, он стучится в ее дверь. Мелани уже проснулась, лежит, натянув одеяло до подбородка, вид у нее измученный.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

Она пожимает плечами.

— Что-нибудь случилось? Хочешь поговорить?

Она молча качает головой.

Он садится на постель, притягивает ее к себе. И, оказавшись в его руках, она разражается жалким плачем. Что не мешает ему ощутить укол желания.

— Ну, ну, — шепчет он, стараясь успокоить ее. — Расскажи мне, что с тобой. — Почти что: „Расскажи папочке, что случилось“.

Мелани собирается с силами, пытается что-то сказать, но у нее напрочь заложен нос. Он приносит ей носовой платок.

— Можно я немного поживу здесь? — спрашивает она.

— Поживешь? — осторожно повторяет он. Она уже не плачет, только горестная дрожь все еще сотрясает ее. — Ты уверена, что это хорошая мысль?

Хорошая ли это мысль, она не отвечает. Только теснее прижимается к нему, уткнувшись в его живот теплым лицом. Одеяло соскальзывает; на Мелани ничего, кроме майки и трусиков.

Сознает ли сама она в этот миг, что творит?

Когда он там, в парке колледжа, сделал первый ход, он полагал, что его ожидает быстрый романчик — быстро начали, быстро закончили. И вот

она в его доме, что чревато новыми осложнениями. Какую игру она ведет? Нет сомнений, ему следует быть осторожным. Впрочем, ему следовало быть осторожным с самого начала.

Он вытягивается рядом с ней на постели. Последнее, в чем он нуждается, это чтобы Мелани Исаакс переселилась в его квартиру. И все же сейчас сама мысль об этом опьяняет его. Она будет здесь каждую ночь; каждую ночь он сможет вот так же забираться в ее постель, забираться в Мелани. Все, конечно, выплывет наружу, оно всегда выплывает, поползут слухи, может быть, даже разразится скандал. Ну и что? Последний всплеск чувственного пламени, перед тем как ему угаснуть. Он отбрасывает одеяло в сторону, протягивает руку, гладит ее груди, ягодицы.

— Конечно, ты можешь остаться, — бормочет он. — Конечно.

В его спальне, за две комнаты отсюда, звонит будильник. Она отворачивается, натягивает одеяло до плеч.

— Я сейчас уйду, — говорит он. — У меня сегодня занятия. Постарайся еще поспать. В полдень вернусь, тогда мы поговорим.

Он гладит ее по волосам, целует в лоб. Любовница? Дочь? Кем ей хочется стать в глубине души?

Что она предлагает ему?

Возвратившись в полдень, он находит Мелани уже одетой — она сидит за кухонным столом, поедая тост с медом и запивая все чаем. Похоже, она чувствует себя совсем как дома.

— Ну вот, — говорит он, — ты выглядишь намного лучше.

— Поспала после твоего ухода.

— Так, может, расскажешь мне, что случилось?

Она отводит глаза.

— Не сейчас, — говорит она. — Мне пора идти, я опаздываю. Объясню в следующий раз.

— И когда он будет, следующий раз?

— Сегодня вечером, после репетиции. Тебя устроит?

— Да.

Она встает, относит чашку с тарелкой к раковине (но не моет их), поворачивается к нему.

— Ты уверен, что тебе это удобно? — спрашивает она.

— Вполне.

— Да, и еще: я знаю, что пропустила много занятий, но постановка отнимает у меня все время.

— Я понимаю. Ты хочешь сказать, что театр у тебя на первом месте. Было бы лучше, если бы ты объяснила мне это раньше. Завтра придешь

на занятия?

— Да. Обещаю.

Она обещает, но ниоткуда не следует, что обещание будет выполнено. Он обижен и раздражен. Мелани плохо ведет себя, слишком многое сходит ей с рук; она учится использовать его и, возможно, будет использовать и в дальнейшем. Но если ей многое сходит с рук, то ему сходит еще больше; если она ведет себя плохо, то он — гораздо хуже. В той мере, в какой они заодно, если, конечно, они заодно, он — ведущий, она — ведомая. Вот и не забывай об этом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Он овладевает ею еще раз, на кровати в комнате дочери. Ему хорошо с ней, так же хорошо, как в первый раз; он начинает понимать движения ее тела. Она проворна, жадна до нового опыта. Если он и не ощущает в ней полностью развитой сексуальной потребности, то это лишь потому, что она молода. Одно мгновение застревает в памяти — она сцепляет ноги на его ягодицах, чтобы вдвинуть его в себя еще дальше, и когда напрягаются ее прижатые к нему бедра, он ощущает прилив радости и желания. Как знать, быть может, несмотря ни на что, у них есть будущее.

— Ты часто занимаешься этим? — спрашивает она после.

— Чем?

— Спишь со своими студентками? С Амандой ты спал?

Он не отвечает. Аманда — еще одна из его студенток, тоненькая блондиночка. Она ему нимало не интересна.

— Почему ты развелся? — спрашивает Мелани.

— Я разводился дважды. Дважды женился, два-

жды разводился.

— А что случилось с твоей первой женой?

— Это долгая история. Как-нибудь расскажу.

— У тебя есть их фотографии?

— Я не коллекционирую фотографий. И женщин тоже.

— Разве я не часть твоей коллекции?

— Нет, разумеется, нет.

Она встает, обходит, собирая одежду, комнату, ничуть не стесняясь, как если бы она была одна. Он привык к женщинам, которые одеваются и раздеваются с большей застенчивостью. Но женщины, к которым он привык, не так молоды, да и фигуры у них не столь совершенные.

В тот же день, под вечер, в кабинет его входит, стукнув в дверь, молодой человек, которого он прежде не видел. Гость усаживается без приглашения, оглядывает кабинет, с видом знатока кивает, когда взгляд его набредает на книжные полки.

Молодой человек высок и жилист; у него узкая эспаньолка и кольцо в ухе; он в черной кожаной куртке и черных кожаных штанах. Он выглядит старше большинства студентов, выглядит как человек, от которого должно ждать неприятностей.

— Так вы, значит, профессор, — говорит гость. — Профессор Дэвид. Мелани рассказывала мне про вас.

— Да? И что же именно?

— Что вы ее харите.

Долгое молчание. Ну вот, думает он, я и попал в яму, которую сам вырыл. Мог бы и догадаться: девушек вроде этой задаром не раздают.

— Кто вы? — спрашивает он.

Гость будто и не слышит вопроса.

— Вы думаете, вы такой ловкач, — продолжает он. — Настоящий дамский угодник. А вот интересно, будете вы казаться себе таким же ловкачом, когда ваша жена узнает, чем вы тут занимаетесь?

— Ну хватит. Что вам нужно?

— А вы мне не указывайте, хватит или не хватит. — Теперь молодой человек говорит быстрее, угрожающей скороговоркой. — И не думайте, что можете влезть в чужую жизнь и вылезти из нее, когда вам захочется.

Свет пляшет в черных глазах пришельца. Резко наклонившись, молодой человек машет рукой, вправо, влево. С письменного стола летят бумаги. Он встает.

— Довольно! Вам самое время уйти.

— „Вам самое время уйти“, — передразнивая его, повторяет молодой человек. — Ладно. — Затем поднимается, встает, неторопливо идет к двери. — До свидания, профессор Обмылок! Но погодите, вы меня еще вспомните! — И уходит.

„Головорез, — думает он. — Она связалась с головорезом, а теперь и я с ним связан!“ У него сводит желудок.

Он не ложится допоздна, ожидая Мелани, но та не приходит. Мало того, утром обнаруживается, что кто-то изуродовал оставленную им на улице машину. Шины проколоты, в замки дверец налит клей, ветровое стекло залеплено газетой, ободрана краска. Замки приходится менять; счет составляет шестьсот рандов.

— Догадываетесь, кто это сделал? — спрашивает слесарь.

— Понятия не имею, — резко отвечает он.

После этого coup de main[14] Мелани держится от него на расстоянии. Ничего удивительного: если он пристыжен, то и она тоже. Однако в понедельник она появляется на занятиях, и рядом с нею, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы, сидит с выражением нахальной

---

[14] notes: 14
Внезапного нападения *(фр.)*.

непринужденности молодой человек в черном, ухажер.

Обычно в аудитории стоит негромкий гул — студенты переговариваются. Сегодня тихо. Хоть он и не может поверить, будто всем известно, что происходит, студенты явно ждут его реакции на незваного гостя.

А собственно, какой? Того, что случилось с его машиной, по-видимому, мало. Ясно, что его ожидают новые сюрпризы. Что он может сделать? Сжать зубы и расплачиваться, что же еще?

— Продолжим чтение Байрона, — говорит он, утыкаясь носом в заметки. — Как мы видели на прошлой неделе, скандалы и дурная слава сказывались не только на жизни Байрона, но и на приеме, который его стихи получали у публики. Байрон-человек оказался сплавленным с собственными поэтическими созданиями — Гарольдом, Манфредом, даже Дон Жуаном.

Скандал. Жаль, что приходится говорить именно на эту тему, но импровизировать он сейчас не в состоянии.

Он бросает косой взгляд на Мелани. Обычно она старательно записывает. Сегодня же, похудевшая, измученная, она сидит, сгорбясь, над книгой. Сердце его невольно устремляется к ней.

„Бедный птенец, — думает он, — которого я прижимал к груди!“

В прошлый раз он просил студентов прочесть „Лару“. И в заметках его — сплошь „Лара“. Обойти эту поэму стороной он не может. Он читает вслух:

Среди живых он в мире этом — странник,

Отвергнутый загробным — дух-изгнанник.

Он — жертва темных сил, ему в удел

Назначивших опасности; случайно

И не напрасно ль, — он спастись успел[15].

— Что можно вывести из этих строк? Кто этот „дух-изгнанник“? Почему он именует себя „странником среди живых“? Из какого мира пришел он?

Его давно уже перестала удивлять степень невежества студентов. Люди послехристианской, послеисторической эпохи, эпохи ликвидации грамотности, они могли бы с таким же успехом только вчера вылупиться из яиц. Поэтому он не

---

[15] notes: 15

Здесь и далее цитируется „Лара“ Байрона (Пер. с англ. О. Чюминой).

ждет от них познаний о падших ангелах или о том, где мог бы прочесть об этих ангелах Байрон. Он ждет тура благодушных догадок, которые, если повезет, ему удастся направить в нужную сторону. Однако сегодня его встречает молчание, упорное молчание, почти ощутимо сгущающееся вокруг сидящего среди студентов чужака. Они не станут говорить, не станут подыгрывать ему, пока среди них находится посторонний, способный осудить их или посмеяться над ними.

— Люцифер, — говорит он, — ангел, низвергнутый с небес. О жизни ангелов мы знаем мало, но можно предположить, что кислород им не требуется. У себя дома Люцифер, темный ангел, не нуждался в дыхании. И вот он оказывается брошенным в странный ему „дышащий мир“, в наш мир. „Странник“: существо, избирающее собственный путь, живущее в опасности и даже создающее для себя эту опасность. Почитаем дальше.

Юноша так ни разу и не заглянул в текст. Вместо этого он с легкой улыбкой на устах, улыбкой, в которой, возможно, присутствует удивление, внимает его словам.

…высок,

Он жертвовать другим собою мог.
Не жалостью, не долгом увлеченный,
Руководясь лишь мыслью извращенной.
Что совершить доступное ему —
Немногим лишь дано иль никому.
И та же мысль, в минуту ослепленья,
Могла его толкать на преступленья.
— Итак, что за создание этот Люцифер?

К этому времени студенты уже наверняка ощутили наличие неких токов, текущих между ним и молодым человеком. Вопрос был адресован молодому человеку и только ему одному, и молодой человек отзывается, подобно вдруг пробужденному к жизни спящему:

— Он делает то, что ему нравится. Не заботясь о том, хорошо это или плохо. Просто делает.

— Вот именно. Хорошо оно или плохо, он просто делает это. Он действует, руководствуясь не принципами, но порывами, и источник этих порывов для него темен. Прочтите несколькими строчками дальше: „безумия виною лишь сердце было в нем, не голова“. Безумие сердца. Что такое „безумие сердца“?

Он просит слишком многого. Молодой человек был бы рад еще поднапрячь интуицию, он это видит. Молодому человеку хочется показать, что и он разбирается кое в чем помимо мотоциклов и модной одежды. Возможно, и разбирается. Возможно, у него даже есть представление о том, что такое „безумие сердца“. Но здесь, в аудитории, перед незнакомыми людьми, слова ему не даются. Он качает головой.

— Ну, не важно. Заметьте, что нас не просят осудить это существо с безумным сердцем, существо с неким органически присущим ему изъяном. Напротив, нас призывают понять его и ему посочувствовать. Однако всякое сочувствие имеет пределы. Ибо, хоть он и живет среди нас, он — не один из нас. Он именно тот, кем себя именует: чудовище. И в конечном итоге Байрон внушает нам мысль, что любить его — в глубинном, человеческом смысле этого слова — невозможно. Он обречен на одиночество.

Склонив головы, студенты записывают его слова. Байрон, Люцифер, Каин — им все едино.

С поэмой покончено. Велев студентам прочесть несколько первых песен „Дон Жуана“, он покидает аудиторию раньше обычного, напоследок сказав поверх голов:

— Мелани, можно вас на несколько слов?

Она стоит перед ним, измученная, осунувшаяся. И вновь сердце его устремляется к ней. Будь они одни, он бы обнял ее, попытался развеселить. „Голубка моя“, — сказал бы он ей.

Вместо этого он говорит:

— Пройдем в мой кабинет?

Они поднимаются по лестнице к кабинету, ухажер тащится следом.

— Подождите здесь, — говорит он молодому человеку и закрывает дверь перед его носом.

Мелани, понурясь, сидит перед ним.

— Дорогая моя, — говорит он, — я знаю, у тебя сейчас трудное время, и не хочу делать его еще более трудным. Но я должен поговорить с тобой как преподаватель. У меня имеются обязательства перед студентами, перед каждым из них. Чем твой друг занимается в университетском городке, это его дело. Однако я не могу позволить ему срывать занятия. Передай ему это от меня. Что касается тебя, ты должна уделять больше времени учебе. Тебе следует почаще бывать на занятиях. И сдать экзамен, который ты пропустила.

Она глядит на него в замешательстве, даже в ужасе. „Ты сам оторвал меня от всех, — словно хочет сказать она. — Ты заставил меня хранить

твою тайну. Я уже не просто студентка. Как ты можешь говорить со мной подобным образом?“

Голос ее, когда она наконец открывает рот, до того тих, что он почти не слышит ее:

— Я не могу сдать экзамен, я не успела ничего прочитать.

То, что ему хочется сказать, произнести, соблюдя приличия, невозможно. Он может лишь подать ей знак и надеяться, что она поймет.

— Ты просто сдай экзамен, Мелани, как все остальные. Не важно, готова ты или не готова, главное — свалить его с плеч. Давай назначим день. Как насчет понедельника, во время обеденного перерыва? У тебя будут целые выходные для чтения.

Мелани поднимает голову, с вызовом глядит на него. Она либо не поняла, либо не желает воспользоваться предложенной лазейкой.

— В понедельник здесь, в моем кабинете, — повторяет он.

Она встает, закидывает сумку за плечо.

— Мелани, на меня возложена определенная ответственность. Сделай хотя бы вид, что сдаешь экзамен. Не усложняй положение сверх необходимого.

Ответственность: она не снисходит до ответа

на это слово.

Возвращаясь тем же вечером с концерта, он притормаживает на красный свет. Чуть впереди останавливается, содрогаясь, мотоцикл, серебристый „дукати“ с двумя седоками в черном. Оба в шлемах, тем не менее он их узнает. Мелани сидит на заднем сиденье, широко раздвинув колени, оттопырив зад. Быстрая дрожь похоти сотрясает его. „Я был там!“ — думает он. Затем мотоцикл рывком уходит вперед, унося ее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На экзамен она в понедельник не является. Зато в своем почтовом ящике он обнаруживает официальный бланк с отказом от слушания курса: „Студентка 7710101CAM мисс М. Исаакс отказывается от посещения курса КОМ 312. Отказ вступает в силу незамедлительно“.

От силы через час в его кабинете звонит телефон.

— Профессор Лури? У вас найдется минута для разговора? Моя фамилия Исаакс, я звоню из Джорджа. Моя дочь слушала ваши лекции, вы знаете, Мелани.

— Да.

— Профессор, я вот подумал, возможно, вы могли бы нам помочь. Мелани была такой хорошей студенткой, а теперь она говорит, что хочет все бросить. Для нас это большое потрясение.

— Не уверен, что понял вас.

— Она хочет оставить учебу и найти себе работу. Разве это не расточительство — провести три года в университете, хорошо учиться и вдруг перед самым концом бросить все? Вот я и подумал,

не могу ли я попросить вас, профессор, переговорить с ней, привести ее в чувство?

— А сами вы с Мелани не говорили? Вам известно, что стоит за ее решением?

— Мы, ее мать и я, все выходные проговорили с ней по телефону, но никакого толку от нее не добились. Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась. Она все принимает очень близко к сердцу, профессор, такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить ее еще раз все обдумать. Она вас так уважает. Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую.

Итак, Мелани-Melani с ее восточными побрякушками и глухотой к Вордсворту все принимает близко к сердцу? А он и не догадывался. Каких еще ее качеств он не угадал?

— Не знаю, мистер Исаакс, насколько я гожусь для разговора с Мелани.

— Годитесь, профессор, конечно, годитесь! Мелани вас так уважает!

„Уважает? Ваши сведения устарели, мистер Исаакс. Ваша дочь вот уж несколько недель как утратила всякое уважение ко мне. И имеет на то

основания“. Вот что ему следует сказать. Взамен он говорит:

— Хорошо, я посмотрю, что можно сделать.

Ничего у тебя не получится, говорит он себе, положив трубку. Папаша Исаакс из далекого Джорджа не забудет этого разговора со всеми твоими увертками и враньем. „Я посмотрю, что можно сделать“. Почему было не признаться во всем? „Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, — следовало бы сказать ему. — Как я могу помочь вам, когда я-то и есть причина вашей беды?“

Он звонит ей домой и попадает на кузину Полин.

— Мелани недоступна, — ледяным голосом сообщает Полин.

— Что значит недоступна?

— Это значит, что она не хочет с вами разговаривать.

— Передайте ей, — говорит он, — что я звонил по поводу ее решения бросить учебу. Объясните, что оно опрометчиво.

В среду занятия складываются из рук вон плохо, в пятницу и того хуже. Студентов мало, только посредственные, пассивные, со всем соглашающиеся. Объяснение этому может быть лишь одно.

Все вышло наружу. Он находится в деканате, когда кто-то произносит за его спиной:

— Где я могу найти профессора Лури?

— Это я, — не успев подумать, отвечает он.

Мужчина, задавший вопрос, невысок, тощ, сутуловат. На нем великоватый ему синий костюм, источающий запах сигаретного дыма.

— Профессор Лури? Мы с вами разговаривали по телефону. Исаакс.

— Да. Здравствуйте. Может быть, пройдем в мой кабинет?

— В этом нет необходимости.

Мужчина некоторое время молчит, собираясь с духом, потом набирает побольше воздуху в грудь.

— Профессор, — говорит он, сильно нажимая на это слово, — возможно, вы человек очень образованный и так далее, но то, что вы сделали, дурно. — Он замолкает, качает головой. — Дурно.

Две секретарши даже не пытаются скрыть любопытство. В деканате присутствуют и студенты; когда посетитель повышает голос, все они замолкают.

— Мы отдали нашу дочь в руки подобных вам, полагая, что вам можно доверять. Если не доверять университету, то тогда кому же? Нам и в

голову не приходило, что мы посылаем дочь в гадюшник. Вы, может быть, и занимаете высокое положение, и степени у вас есть и такие и сякие, но мне на вашем месте было бы очень стыдно за себя, и да поможет мне Бог! Если я что-то не так понял, вам самое время сказать об этом, да только сомневаюсь, что я не прав, вон у вас и на лице все написано.

Действительно, самое время. Имеющий что сказать да скажет. Но он стоит, лишившись дара речи, кровь гулко ухает в ушах. Гадюка, что тут отрицать?

— Простите, — бормочет он, — у меня дела. — И, повернувшись, точно деревянный, уходит.

Исаакс следует за ним по заполненному людьми коридору.

— Профессор! Профессор Лури! — восклицает он. — Вам не удастся так просто уйти! Вы еще не слышали главного, я вам сейчас скажу!

Так все и начинается. На следующее утро — редкостная распорядительность — он получает из офиса вице-ректора (работа со студентами) письмо с извещением, что на него подана жалоба, подпадающая под статью 3.1 университетского „Кодекса поведения“. Его просят при первой же возможности связаться с офисом.

Извещение, пришедшее в конверте с пометкой „Конфиденциально“, сопровождается копией упомянутого кодекса. Статья 3 трактует о домогательствах или преследованиях по расовым, этническим и религиозным мотивам, на основании половых различий, сексуальных предпочтений или физической немощи. Статья 3.1 посвящена преследованию студентов преподавателями и соответствующим домогательствам.

Еще в одном документе описывается структура и правомочность комиссии по расследованию. Пока он читает, сердце неприятно колотится. К середине документа внимание его начинает рассеиваться. Он запирает дверь кабинета и сидит с листком бумаги в руке, пытаясь представить себе, что же произошло.

Он уверен, сама Мелани такого шага не сделала бы. Она слишком простодушна, слишком не осведомлена о своих возможностях. За всем этим наверняка стоит тот человечек в плохо сидящем костюме, он и кузина Полин, дурнушка, дуэнья. Должно быть, они уговорили ее, измотали и в конце концов свели в ректорат.

— Мы хотим подать жалобу, — надо думать, сказали они.

— Подать жалобу? Какого рода жалобу?

— Жалобу личного характера.

— Насчет домогательств, — вероятно, вставила кузина Полин; Мелани так и стояла сконфуженная, — жалобу на профессора.

— Пройдите в комнату номер такой-то.

В комнате номер такой-то он, Исаакс, осмелел:

— Мы хотим подать жалобу на одного из ваших профессоров.

— Вы хорошо все обдумали? И действительно этого хотите? — следуя заведенному порядку, спросили у него.

— Да, мы действительно этого хотим, — ответил он, глядя на дочь, предоставляя ей возможность возразить.

Нужно заполнить бланк. Перед ними кладут бланк и перо. Рука берет перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его очень близко. Сначала имя жалобщика: Мелани Исаакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить. „Вот тут“, — указывает желтый от никотина палец отца. Колебания затухают, рука опускается, ставит X, этот крест праведников: „J'accuse“[16]. Теперь графа, отведенная для имени обвиняемого. *Дэвид*

---

[16] notes: 16
„Я обвиняю“ *(фр.).*

Лури, пишет рука, *профессор.* И наконец, в самом низу листа, дата и подпись: арабеска „М“, „е“ с четкой петелькой, завитушка последней „с“.

Дело сделано. Два имени на листке бумаги, его и ее, бок о бок. Двое в постели, уже не любовники, но враги.

Он звонит в офис вице-ректора, ему велят прийти туда к пяти, по окончании рабочего дня.

В пять он ждет в коридоре. Появляется Арам Хаким, молодой, элегантный, приглашает его войти. В комнате еще двое: Элайн Винтер, заведующая его кафедрой, и Фародиа Рассул с факультета социологии, председатель университетского комитета по дискриминации.

— Время уже позднее, Дэвид, причина, по которой мы собрались, известна, — говорит Хаким, — поэтому давайте сразу перейдем к сути дела. Какой подход к нему будет наилучшим?

— Для начала расскажите мне, в чем состоит жалоба.

— Очень хорошо. Речь идет о жалобе, поданной мисс Мелани Исаакс. А также, — он оглядывается на Элайн Винтер, — о некоторых имевших ранее место нарушениях, по-видимому, связанных с мисс Исаакс. Элайн?

Инициатива переходит к Элайн Винтер. Ей он

никогда не нравился, она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем и лучше.

— У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Исаакс, Дэвид. По ее словам — я разговаривала с ней по телефону, — за последний месяц она присутствовала на занятиях всего два раза. Если это так, вам следовало доложить об этом. Она утверждает также, что пропустила экзамен. Между тем, — Элайн заглядывает в лежащую перед ней папку, — согласно представленным вами ведомостям, посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила семьдесят баллов. — Элайн недоуменно глядит на него. — Стало быть, если только у нас не имеется двух Мелани Исаакс…

— Имеется только одна, — говорит он. — Мне нечего сказать в свое оправдание.

Плавно вступает Хаким:

— Друзья, сейчас не время и не место для решения серьезных вопросов. Единственное, что нам следует сделать, — он окидывает взглядом двух других, — это уточнить процедуру. Вряд ли я должен говорить вам, Дэвид, что все будет происходить на строго конфиденциальной основе, могу вас в этом заверить. Ваше доброе имя не

пострадает, как и имя мисс Исаакс. Будет образована комиссия. Ее задача — установить, имеются ли основания для дисциплинарных мер. Вы или ваш поверенный получат возможность оспорить состав комиссии. Слушания будут проходить при закрытых дверях. Тем временем, пока комиссия не выработает рекомендаций для ректора, а ректор не примет соответствующих мер, все будет идти по-прежнему. Мисс Исаакс официально отказалась от посещения проводимых вами занятий, от вас же ожидается, что вы воздержитесь от каких-либо контактов с ней. Я ничего не пропустил? Фародиа, Элайн?

Доктор Рассул, поджав губы, качает головой.

— Дела о домогательстве всегда сложны, Дэвид, сложны и неприятны, но мы считаем принятые нами процедуры достойными и справедливыми, так что мы просто выполним их шаг за шагом, как положено. Я же посоветовала бы вам ознакомиться с ними и, может быть, проконсультироваться с юристом.

Он хочет ответить, но Хаким предостерегающе поднимает руку:

— Не принимайте пока никаких решений.

Ну, хватит!

— Не указывайте мне, что делать, я не ребенок.

И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто, привратник ушел домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил.

Льет дождь.

— Давайте-ка ко мне под зонт, — говорит Хаким и потом, уже у машины: — Между нами, Дэвид, хочу сказать вам, что очень вам сочувствую. Правда. Эти вещи бывают чертовски неприятными.

Он знаком с Хакимом многие годы, они вместе играли в теннис — когда он еще играл в теннис, — но сейчас он не в том настроении, чтобы вести дружескую мужскую беседу. Сердито пожав плечами, он забирается в машину.

Разумеется, никакой конфиденциальностью и не пахнет, разумеется, уже пошли толки. Иначе почему, когда он входит в профессорскую, все разговоры обрываются и повисает тишина, почему молодая коллега, с которой он до сих пор пребывал в самых сердечных отношениях, ставит чайную чашку на стол и, глядя сквозь него, покидает профессорскую? Почему на первое занятие по Бодлеру приходят всего двое студентов?

Мельница слухов, думает он, вертится день и ночь, перемалывая репутации. Сообщество

праведников, совещающихся по углам, перезванивающихся, закрыв предварительно двери. Ликующий шепот. Schadenfreude[17]. Сначала приговор, а там уж и суд.

Он берет себе за правило держать, проходя по коридорам факультета, голову повыше.

Он встречается с адвокатом, который занимался его разводом.

— Давайте первым делом выясним, — говорит адвокат, — насколько правдивы обвинения.

— Достаточно правдивы. У меня был роман с девушкой.

— Серьезный?

— А что, его серьезность способна улучшить или ухудшить мое положение? По наступлении определенного возраста все романы серьезны. Как и сердечные приступы.

— Ну что же, исходя из стратегических соображений, я посоветовал бы вам подрядить в качестве вашего представителя женщину, — он называет два имени, — и постараться уладить все частным порядком. Вы принимаете на себя определенные обязательства, возможно, на время уходите в отпуск, в обмен университет уговари-

---

[17] notes: 17
Злорадство *(нем.)*.

вает девушку или ее родню снять обвинения. Это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вам показывают желтую карточку, вы не спорите. Сведите ущерб до минимума и подождите, пока утихнет скандал.

— Какого рода обязательства?

— Групповая психотерапия. Безвозмездная работа на благо университетской общины. Лечение у аналитика. Это уж как вы с ними сторгуетесь.

— Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении?

— Поймите меня правильно. Я лишь говорю, что одним из предложенных вам вариантов может оказаться лечение у аналитика.

— Дабы привести меня в порядок? Исцелить? Избавить от непотребных желаний? Адвокат пожимает плечами:

— Все, что угодно.

В университетском городке проводится Неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз „Женщины против насильников“, ЖПН, объявляет двадцатичетырехчасовое бдение в знак солидарности с „недавними жертвами“. Ему под дверь подсовывают брошюрку „ЖЕНЩИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ“. Внизу обложки карандашом накарябано: *„Твои дни сочтены, Казанова“.*

Он обедает с Розалиндой, своей последней

женой. Они расстались восемь лет назад и медленно, опасливо снова сумели стать друзьями, в своем роде. Ветераны войны. Его радует то, что она все еще живет поблизости, возможно, и она испытывает по отношению к нему то же чувство. По крайней мере, есть человек, на которого можно будет положиться, когда случится худшее: падение в ванной, кровь в стуле.

Они разговаривают о единственном плоде его первого брака, о Люси, живущей теперь в Восточном Кейпе.

— Возможно, я скоро увижусь с ней, — говорит он. — Я собираюсь попутешествовать.

— В разгар семестра?

— Семестр почти закончился. Осталось две недели — потом все.

— Это как-то связано с твоими проблемами? Я слышала, у тебя проблемы.

— Где ты это слышала?

— Да ходят разговоры, Дэвид. Всем известно о твоем последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которому хотелось бы заткнуть болтунам рот, — кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты свалял?

— Нет, позволено не будет.

— Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса, да, собственно, и знать не хочу, но *этот* способ определенно не годится. Тебе сколько — пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с мужчиной твоего возраста? Думаешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей…? Ты хоть раз об этом подумал? Он молчит.

— Не жди от меня сочувствия, Дэвид, и ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения — не в наши дни и не в твоем возрасте. Все набросятся на тебя, и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?

Знакомый тон, тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных попреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это. И возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи: чтобы сносить экстатические конвульсии малоприятных самцов.

— Ну хорошо, — продолжает Розалинда, — так ты говоришь, что собираешься повидаться с

Люси?

— Да, я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время.

— Разбирательство?

— На следующей неделе начинает заседать комиссия по расследованию.

— Быстро они. Ладно, повидаешься ты с Люси, а что потом?

— Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться.

Розалинда качает головой:

— Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоила ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?

— Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша.

— Не могут? Не будь так уверен в этом. Сколько ей лет — твоей прелестнице?

— Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет.

— Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда?

— Насчет снотворного сведений не имею. По-моему, вранье. Кто тебе это сказал?

Розалинда пропускает вопрос мимо ушей.

— Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?

— Нет. Никогда.

— Почему же она подала жалобу?

— Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там, за сценой, происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили. Имеется ревнивый молодой человек. Разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью.

— Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унизительно. Честное слово.

— Ты не спросила, любил ли я её. Может, спросишь заодно и об этом?

— Ладно. Любил ли ты молодую женщину, извалявшую твое имя в грязи?

— Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить.

— Не стоит ее винить! Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню! И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца! Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова.

В прежние времена он тут бы и взвился. Но

не сегодня. Они с Розалиндой отрастили, чтобы защищаться друг от дружки, по толстой шкуре.

Назавтра Розалинда звонит ему по телефону.

— Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний „Аргус“?

— Нет.

— Ну так крепись. Там статья о тебе.

— И что в ней сказано?

— Это ты уж сам прочитай.

Статью он находит на третьей странице. „Профессор обвиняется в сексе“ — так она озаглавлена. Он пробегает первые строки: „…должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. ТУК старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающей мошенничества с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури (53 г.), автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте, нам не удалось“.

Уильям Вордсворт (1770–1850), певец природы. Дэвид Лури (1945-?), обесчещенный ученик и комментатор названного Уильяма Вордсворта.

Благословен, младенец, будь. Нет, не изгнанник он. Благословенно будь, дитя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Слушания проходят в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола, во главе коего восседает сам Манас Матабане, профессор истории религии, возглавляющий расследование. Слева от Манаса — Хаким, его секретарь, и молодая женщина, по виду студентка; справа — три члена комиссии Матабане.

Он не нервничает. Напротив, чувствует полную уверенность в себе. Сердце бьется ровно, он хорошо выспался. Тщеславие, думает он, опасное тщеславие игрока; тщеславие и самодовольство. Состояние духа определенно неуместное. Ну и черт с ним.

Он кивком приветствует членов комиссии. Двое ему знакомы: Фародиа Рассул и Десмонд Суортс, декан технологического факультета. Третья, согласно лежащим перед ним документам, преподает в школе бизнеса.

— Собравшаяся здесь комиссия, профессор Лури, — открывает заседание Матабане, — не обладает никакой властью. Она может толь-

ко выработать рекомендации. Более того, вы вправе оспорить ее состав. Поэтому разрешите мне спросить: есть ли среди членов комиссии кто-либо, предвзято, по вашему мнению, к вам относящийся?

— Оспаривать состав комиссии в смысле юридическом я бы не стал, — отвечает он. — У меня имеются некоторые сомнения философского толка, но говорить о них здесь, я полагаю, неуместно.

Общее шевеление, шарканье.

— Я думаю, нам следует ограничиться юридическими рамками, — говорит Матабане. — Итак, к составу комиссии у вас претензий нет. Имеются ли у вас возражения против присутствия студентки? Она здесь в качестве наблюдательницы от Коалиции против дискриминации.

— Я не боюсь комиссии. И не боюсь наблюдателей.

— Очень хорошо, перейдем к делу. Первым из жалобщиков является мисс Мелани Исаакс, студентка театрального факультета. У каждого из нас есть копия ее заявления. Следует ли мне комментировать это заявление? Профессор Лури?

— Насколько я понимаю, господин председатель, мисс Исаакс лично здесь не появится?

— Комиссия заслушала мисс Исаакс вчера. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что это не суд, а расследование. Регламент, которого мы придерживаемся, не есть регламент судопроизводства. Вы усматриваете в этом какую-либо проблему?

— Нет.

— Второе обвинение, связанное с первым, — продолжает Матабане, — поступило из отдела учета успеваемости студентов, оно касается точности посвященных мисс Исаакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исаакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменных работ и не прошла экзамена, между тем как все оценки вы ей выставили.

— Это все? Других обвинений нет?

— Это все.

Он делает глубокий вдох.

— Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор, и давайте жить дальше.

Хаким склоняется к Матабане. Они вполголоса переговариваются.

— Профессор Лури, — говорит Хаким, — я вынужден повторить, что это комиссия по рассле-

дованию. Ее роль состоит в том, чтобы выслушать обе стороны и выработать рекомендации. И я снова спрашиваю, не лучше ли, если вас будет представлять кто-нибудь хорошо знакомый с нашими процедурами?

— Меня не надо представлять. Я вполне способен представлять себя сам. Правильно ли я понял, что слушание будет продолжено, несмотря на сделанное мной заявление?

— Мы хотим дать вам возможность изложить вашу точку зрения.

— Я ее уже изложил. Я виновен.

— Виновны в чем?

— В том, в чем меня обвиняют.

— Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури.

— Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей.

Тут встревает Фародиа Рассул:

— Вы говорите, профессор Лури, что не оспариваете заявления мисс Исаакс, но вы хотя бы прочли его?

— Я не имею ни малейшего желания читать заявление мисс Исаакс. Я с ним согласен. Я не вижу причин, по которым мисс Исаакс стала бы лгать.

— Но не благоразумнее было бы прочесть заявление, прежде чем с ним соглашаться?

— Нет. В жизни есть вещи поважнее благоразумия.

Фародиа Рассул откидывается на спинку стула.

— Весьма по-донкихотски, профессор Лури, однако можете ли вы позволить себе подобное донкихотство? На мой взгляд, нам, возможно, следует защитить вас от вас же самого, — и она посылает Хакиму замороженную улыбку.

— Вы говорите, что не обращались за советом к адвокату. Но хоть с кем-нибудь вы консультировались — со священником, к примеру, или психологом? Готовы ли вы к тому, чтобы подвергнуться психотерапии?

Вопрос задан молодой женщиной из школы бизнеса. Он внутренне ощетинивается.

— Нет, я не думал о таком обследовании и не намерен его проходить. Я взрослый человек. И в психотерапии не нуждаюсь. Она мне не поможет. — Он обращается к Матабане: — Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?

Матабане шепотом совещается с Хакимом.

— Предлагается объявить перерыв, — говорит Матабане, — чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури.

Все кивают.

— Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс ван Вик подождать несколько минут за дверью, пока мы будем обмениваться мнениями?

Вместе со студенткой-наблюдательницей он переходит в кабинет Хакима. Ни он, ни она не произносят ни слова; чувствуется, что девушке не по себе. „Твои дни сочтены, Казанова“. Ну и что она думает о Казанове теперь, встретясь с ним лицом к лицу?

Их зовут обратно. Атмосфера в комнате так себе, кисловатая, на его взгляд, атмосфера.

— Итак, — произносит Матабане, — резюмирую: профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений?

— Я согласен со всеми утверждениями мисс Исаакс.

— Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?

— Да. Я прошу занести в протокол мой протест против поведения профессора Лури, которое представляется мне по сути своей уклончивым. Профессор Лури говорит, что принимает обвинения. Когда же мы пытаемся выяснить у него, что он, собственно говоря, принимает, мы сталкиваемся с тонким издевательством с его стороны. Меня это наводит на мысль, что он принимает

обвинения лишь на словах. В случае, который, подобно этому, отличается обилием нюансов, общество в целом имеет право…

Он не может позволить ей продолжать.

— Нет в этом случае никаких нюансов, — огрызается он.

— Общество в целом имеет право знать, — продолжает она, с приобретенной долгим опытом легкостью перекрикивая его, — что конкретно признаёт профессор Лури и за что ему выносится порицание.

Матабане:

— Если оно ему выносится.

— Если оно ему выносится. Мы не выполним своего долга, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание.

— Что касается понимания, доктор Рассул, то тут, я в этом уверен, мы достигли полной ясности. Вопрос в том, достиг ли ее профессор Лури.

— Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать.

Самое умное в его положении — помалкивать, но нет, не получается.

— То, что происходит в моей голове, это мое

дело, Фародиа, а отнюдь не ваше, — говорит он. — Вам же, если честно, нужна не та или иная реакция с моей стороны, а исповедь. Так вот, исповедоваться я не стану. Я сделал заявление, это мое право. Виновен по всем статьям. Таково мое заявление. Дальше этого я заходить не собираюсь.

— Господин председатель, я чувствую себя обязанной внести протест. Вопрос вышел за рамки обычных формальностей. Профессор Лури признает свою вину, но я спрашиваю себя, действительно ли он ее признает или просто делает вид в надежде, что его дело похоронят под грудой бумаг и забудут? Если он просто делает вид, я требую подвергнуть его самому суровому наказанию.

— Позвольте мне снова напомнить вам, доктор Рассул, — говорит Матабане, — что подвергать кого-либо наказанию — не наша прерогатива.

— В таком случае мы должны рекомендовать подвергнуть профессора Лури самому суровому наказанию. А именно — немедленному увольнению с лишением пенсии и любых привилегий.

— Дэвид? — Это голос Десмонда Суортса, до сей поры молчавшего. — Дэвид, уверены ли вы, что избрали наилучшую в вашей ситуации линию

поведения? — Десмонд поворачивается к председателю: — Господин председатель, как я уже говорил в отсутствие профессора Лури, я считаю, что мы, члены университетского сообщества, не должны относиться к нашему коллеге как холодные формалисты. Дэвид, вы действительно не хотите попросить, чтобы мы отложили слушание, дав вам время подумать и, возможно, проконсультироваться с кем-либо?

— Зачем? О чем я должен думать?

— О серьезности вашего положения, которую вы, по-моему, не вполне осознаете. Если говорить откровенно, вы того и гляди лишитесь работы. А это в наше время не шутка.

— И что вы мне советуете? Убрать из моего тона то, что доктор Рассул именует тонким издевательством? Залиться слезами искреннего раскаяния? Этого будет довольно, чтобы уцелеть?

— Возможно, вам трудно в это поверить, Дэвид, но сидящие за этим столом вам не враги. Нам тоже случается переживать минуты слабости, каждому из нас, мы всего только люди. Ваш случай не уникален. Мы были бы рады дать вам возможность продолжить вашу карьеру.

Мягко вступает Хаким:

— Мы были бы рады, Дэвид, помочь вам найти

выход из этого кошмара.

Это его друзья. Они хотят спасти его от его же собственной слабости, избавить от кошмара. Они не хотят увидеть его просящим подаяние на улицах. Они хотят, чтобы он вернулся к преподаванию.

— Что-то я не слышу в этом доброжелательном хоре, — говорит он, — ни единого женского голоса.

Повисает молчание.

— Хорошо, — говорит он. — Исповедоваться так исповедоваться. История началась однажды вечером, точную дату я позабыл, но вечер был не очень давний. Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исаакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись. Мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, чего я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос. И с того мгновения я стал уж не тот.

— Что значит не тот? — осторожно спрашивает женщина из школы бизнеса.

— Я перестал быть собой. Болтающимся без дела пятидесятилетним разведенным мужем. Я обратился в служителя Эроса.

— Это и есть оправдание, которое вы нам предлагаете? Неуправляемый порыв?

— Это не оправдание. Вам требовалась исповедь, вы ее получили. Что до порыва, так он вовсе не был неуправляемым. В прошлом я множество раз подавлял такие порывы, и теперь мне стыдно вспоминать об этом.

— Не кажется ли вам, — произносит Суортс, — что преподавательская жизнь по самой своей природе требует определенных жертв? Что ради общего блага мы обязаны отказывать себе в определенных удовольствиях?

— Вы имеете в виду запрет на интимные отношения между представителями разных поколений?

— Нет, вовсе не обязательно. Но как преподаватели мы облечены своего рода властью. Может быть, следует говорить о запрете смешивать иерархические отношения с сексуальными. Каковое смешение, на мой взгляд, и произошло в данном случае. Или о крайней осторожности.

Встревает Фародиа Рассул:

— Господин председатель, мы опять пошли по кругу. Да, он говорит, что признает свою вину, но когда мы пытаемся получить от него конкретные ответы, вдруг выясняется, что имело место не

совращение юной девушки, а просто порыв, которому он не смог противиться, и при этом он даже не упоминает о страданиях, которые причинил, не упоминает о долгой истории эксплуатации, частью которой является содеянное им. Вот почему я считаю, что препираться с профессором Лури бессмысленно. Нам следует принять сделанное им заявление по его нарицательной стоимости и выработать соответствующие рекомендации.

„Совращение“. Он ждал этого слова. Произнесенного голосом, дрожащим от праведного гнева. Интересно, что, собственно, питает ее гнев, что она видит, когда глядит на него? Акулу, плавающую среди беспомощных рыбок? Или ее томит иное видение: здоровенный, широкий в кости самец, навалившийся на девушку, совсем еще ребенка, и огромной лапищей зажавший ей рот, чтоб не пищала? Тут он вспоминает: ведь комиссия заседала вчера в этой же комнате и видела Мелани, которая едва достает ему до плеча. Силы неравны, что тут отрицать?

— Я готова согласиться с доктором Рассул, — произносит преподавательница из школы бизнеса. — Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения.

— Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, — говорит Суортс, — я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури. Существует ли того или иного рода официальное заявление, которое он согласился бы подписать?

— Для чего? Чем уж так важно, чтобы я подписал заявление?

— Это помогло бы остудить разгоревшиеся страсти. В идеале мы все предпочли бы разобраться в вашем деле, не привлекая к нему внимания прессы. Но это оказалось невозможным. Дело возбудило очень большой интерес и в результате приобрело аспекты, контролировать которые мы не в состоянии. На университет обращено множество глаз, всех интересует, как мы поступим. Пока я слушал вас, Дэвид, у меня создалось впечатление, что, по вашему мнению, с вами обходятся несправедливо. Вы глубоко заблуждаетесь. Мы, члены комиссии, считаем себя людьми, пытающимися найти компромисс, который позволил бы вам сохранить работу. Поэтому я и спрашиваю: существует ли приемлемая для вас форма публичного заявления, которая позволила бы нам порекомендовать нечто более мягкое, нежели мера самая суровая, то есть увольнение с

официальным порицанием.

— Вы подразумеваете — готов ли я униженно просить о снисхождении?

Суортс вздыхает:

— Дэвид, если вы так и будете издеваться над нашими усилиями, это ни к чему хорошему не приведет. Согласитесь, по крайней мере, на то, чтобы отложить слушание, и еще раз обдумайте свое положение.

— Какова, по-вашему, должна быть суть моего заявления?

— Признание вашей неправоты.

— Я уже признал ее. Без вашей подсказки. Я виновен по всем предъявленным мне обвинениям.

— Дэвид, ну что вы с нами в игры играете? Между признанием вины по обвинению и признанием собственной неправоты есть разница, и вы это прекрасно знаете.

— И что же, признание моей неправоты вас удовлетворит?

— Ну нет, — отвечает Фародиа Рассул. — Это означало бы поставить все дело с ног на голову. *Сначала* профессор Лури должен сделать заявление. А уж *потом* мы бы решили, довольно ли его, чтобы смягчить наказание. Торговаться же относительно содержания его заявления мы не

станем. Заявление должно исходить от него, и формулировка должна принадлежать ему. Тогда мы сможем понять, насколько оно искренне.

— И вы полагаете, что по словам, к которым я прибегну, сможете понять, насколько я искренен?

— Мы поймем, каково ваше отношение к происшедшему. Поймем, действительно ли вы раскаиваетесь.

— Превосходно. Я воспользовался положением, которое занимал по отношению к мисс Исаакс. Я поступил дурно, о чем и сожалею. Этого вам достаточно?

— Вопрос не в том, достаточно ли этого мне, профессор Лури, вопрос в том, достаточно ли этого вам! Отражает ли сказанное ваши искренние чувства?

Он качает головой:

— Я произнес слова, которые вы хотели услышать, теперь вам требуется большее: вам требуется, чтобы я доказал их искренность. Это нелепо. Это вне рамок закона. С меня довольно. У вас есть регламент, вот и давайте его придерживаться. Я признал свою вину. И дальше этого идти не намерен.

— Хорошо, — произносит, не поднимаясь из

кресла, Матабане. — Если к профессору Лури нет больше вопросов, я хотел бы поблагодарить его за то, что он встретился с нами, и пожелать ему всего наилучшего.

В первую минуту они его не узнали. Уже спустившись до середины лестницы, он слышит восклицание „Вот он!“ и торопливый топот.

Они настигают его у подножия лестницы, кто-то даже хватает его, чтобы остановить, за полу пиджака.

— Вы не уделите нам минуту, профессор Лури? — произносит чей-то голос.

Оставив вопрос без ответа, он выскакивает в набитый людьми вестибюль, где многие оборачиваются, чтобы посмотреть на удирающего от преследователей рослого мужчину.

Какая-то девушка преграждает ему дорогу.

— Постойте! — говорит она.

Он отворачивается, вытягивает вперед руку. Вспышка. Девушка заходит с другой стороны. Ее волосы с вплетенными в них янтарными бусинами ровно свисают по обе стороны лица. Она улыбается, показывая белые зубы.

— Мы не могли бы остановиться и поговорить? — спрашивает она.

— О чем?

Прямо под носом у него появляется диктофон. Он его отталкивает.

— О том, как все прошло, — говорит девушка.

— Как прошло что?

Еще одна фотовспышка.

— Ну, вы же знаете, слушание.

— Об этом я говорить не могу.

— Хорошо, а о чем можете?

— Я вообще ни о чем говорить не намерен.

Вокруг собираются праздношатающиеся и любопытные. Если он хочет выбраться отсюда, придется проталкиваться сквозь них.

— Вы огорчены? — спрашивает девушка, снова поднося диктофон поближе. — Сожалеете о том, что сделали?

— Нет, — отвечает он. — Этот опыт меня обогатил.

Улыбка не сходит с лица девушки.

— То есть вы сделали бы это снова?

— Не думаю, что мне представится такая возможность.

— А если б представилась?

— Это нереалистичный вопрос.

Ей нужно большее, больше слов, чтобы напитать ими свой магнитофончик, но она не успела придумать, как подбить его на какую-нибудь

оплошность.

— Чего с ним опыт сделал? — вполголоса спрашивает кто-то.

— Обогатил.

Смешок.

— Спроси его, попросил он прощения? — советует кто-то девушке.

— Да я уже спрашивала.

Исповеди, мольбы о прощении: откуда эта жажда унизить человека? Наступает тишина. Люди, которые его окружают, похожи на охотников, загнавших неведомого им зверя и не знающих, как его теперь прикончить.

Фотография появляется в студенческой газете на следующий день, под ней напечатано: „И кто теперь в дураках?“ Он изображен возведшим глаза горе и протянувшим руку как бы в попытке схватить фотокамеру. Поза и сама-то по себе достаточно нелепа, но окончательным шедевром делает снимок перевернутая мусорная корзинка, которую какой-то молодой человек, ухмыляясь до ушей, держит над его головой. Игра перспективы создает иллюзию, будто корзинка сидит у него на голове, точно дурацкий колпак. На что может рассчитывать изображенный в подобном виде человек?

„Комиссия утаивает свой вердикт“, — гласит заголовок. „Дисциплинарная комиссия, расследующая выдвинутые против профессора Дэвида Лури обвинения в домогательстве и неподобающем поведении, отказалась вчера сообщить что-либо о вынесенном ею вердикте. Председатель комиссии Манас Матабане сказал лишь, что полученные комиссией сведения будут представлены на рассмотрение ректора, который и примет соответствующие меры.

В ходе состоявшейся после слушания перепалки между представительницами ЖПН и Лури (53 г.) последний сказал, что находит опыт своих отношений со студентками „обогащающим“.

Начало скандалу положили жалобы, поданные на Лури, специалиста по романтической поэзии, его студентками“.

Матабане звонит ему домой.

— Комиссия подала рекомендации, Дэвид, и ректор попросил меня в последний раз переговорить с вами. Он готов воздержаться от крайних мер при условии, что вы сделаете от своего имени заявление, которое устроит и вас и нас.

— Манас, мы все это уже проходили…

— Подождите. Выслушайте меня. Передо мной лежит на столе набросок заявления, которое нас

удовлетворило бы. Оно совсем короткое. Могу я прочитать его вам?

— Прочитайте.

Матабане читает:

— Я без каких бы то ни было оговорок признаю серьезность совершенных мною нарушений человеческих прав жалобщицы, равно как и злоупотребление властью, делегированной мне университетом. Я искренне прошу прощения у обеих сторон и готов принять любое уместное в данном случае наказание.

— А что это значит — „любое уместное в данном случае наказание“?

— Насколько я понимаю, вас не уволят. Скорее всего, вас попросят уйти в отпуск. Вернетесь ли вы со временем к преподаванию, будет зависеть от вас и от решения вашего декана и заведующего кафедрой.

— Вот, значит, как? Это и есть комплексное решение?

— Во всяком случае, я это так понимаю. Если вы продемонстрируете готовность подписать заявление, равнозначное ходатайству о снисхождении, ректор будет готов принять его именно в таком смысле.

— В каком?

— В смысле раскаяния.

— Манас, мы уже говорили вчера об этом самом раскаянии. И я сказал вам, что о нем думаю. Я предстал перед официально созданным трибуналом, олицетворяющим власть закона. И признал перед этим мирским судом свою вину, мирскую вину. Этого признания достаточно. Раскаяние же тут решительно ни при чем. Раскаяние принадлежит к иному миру, к иной вселенной дискурса.

— Дэвид, вы смешиваете совершенно разные вещи. Вас не призывают раскаяться. Что происходит в вашей душе, для нас, как для членов того, что вы именуете мирским судом, если не для таких же, как вы, человеческих существ, дело темное. Вас просят сделать заявление.

— Меня призывают просить о прощении независимо от того, искренен я или нет?

— Критерием является не ваша искренность. Она, как я уже сказал, дело вашей совести. Критерием является ваша готовность открыто признать свою вину и предпринять шаги, необходимые для исправления содеянного.

— Вот теперь мы и впрямь занимаемся казуистикой. Вы предъявили мне обвинения, я признал себя виновным. И большего вам от меня не требуется.

— Нет. Нам *требуется* большее. Не так чтобы очень, но большее. И надеюсь, вы отыщете способ дать нам это большее.

— Извините, не могу.

— Дэвид, я не в состоянии и дальше защищать вас от вас же самого. Я устал от этого, так же как устали и остальные члены комиссии. Вам нужно время, чтобы еще раз подумать?

— Нет.

— Очень хорошо. В таком случае я могу сказать вам только одно — ждите вестей от ректора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того как он принимает решение уехать, задержать его способно немногое. Он очищает холодильник, запирает дом и в полдень уже едет по шоссе. Остановка в Оудсхурне, выезд оттуда на рассвете, и в разгар утра он приближается к месту назначения — городу Сейлем на дороге Грейамстаун — Кентон в Восточном Кейпе.

Маленькая ферма дочери расположена в нескольких милях от города, в конце извилистой проселочной дороги: пять гектаров земли, по большей части пахотной, приводимый в действие ветряком насос, конюшни, надворные постройки и низкий, просторный, выкрашенный желтой краской дом с кровлей из оцинкованного железа и крытой верандой. Граница фермы отмечена проволочной изгородью и зарослями герани и настурций; за ними — гравий и пыль.

На подъездной дорожке стоит старенький „фольксваген-комби“, впритык к которому он ставит свою машину. Из тени веранды выходит на солнечный свет Люси. В первый миг он ее не узнает. Прошел год, она прибавила в весе. Бедра и

груди у нее теперь (он подыскивает правильное слово) пышные. По-домашнему босая, она идет к нему, разведя в стороны руки, обнимает, целует в щеку.

Какая милая девушка, думает он, прижимая ее к себе; какой милый прием под конец долгого пути!

Дом — большой, темноватый и даже в полдень прохладный — построен во времена больших семей, в пору, когда в гости приезжали на фургонах. Шесть лет назад Люси попала сюда в составе коммуны — компании молодых людей, которые торговали в Грейамстауне с рук поделками из кожи и высушенной на солнце керамикой и выращивали между стеблей маиса индийскую коноплю. Когда коммуна распалась, остатки ее перебрались в Нью-Бетесда, а Люси со своей подругой Хелен остались на ферме. Она, по ее словам, влюбилась в это место и задумала наладить правильное фермерское хозяйство. Он помог ей купить землю, И вот она здесь, в цветастом платье, босая и все такое, в доме, наполненном запахом свежего хлеба, — уже не ребенок, играющий в фермера, но настоящая фермерша, boervrou.

— Я поселю тебя в комнате Хелен, — говорит

она. — Туда утром заглядывает солнце. Ты не представляешь, какой холод стоит здесь по утрам в эту зиму.

— Как Хелен? — спрашивает он.

Хелен — крупная, хмурого обличья женщина, старше Люси, с глубоким голосом и плохой кожей. Он так и не смог понять, что отыскала в ней дочь; втайне ему хочется, чтобы Люси нашла кого-нибудь получше (или чтобы кто-нибудь получше нашел ее).

— Хелен с апреля в Йоханнесбурге. Я живу в одиночестве, если не считать работника.

— Ты мне об этом не говорила. Тебе не боязно здесь одной?

Люси пожимает плечами.

— Со мной собаки. Собак все еще побаиваются. Чем их больше, тем больший страх они наводят. В любом случае, если бы кто-то сюда вломился, не думаю, что от двух людей было бы больше проку, чем от одного.

— Весьма философично.

— Да. Когда все идет прахом — философствуй.

— Впрочем, у тебя есть оружие.

— Ружье. Я тебе его покажу. Купила у соседа. Пользоваться ни разу не пользовалась, но оно у меня есть.

— Неплохо. Вооруженный философ. Одобряю.

Оружие и собаки; хлеб в печи и зерна в земле. Удивительно, как это он и ее мать, горожане, интеллектуалы, породили столь атавистичное существо, крепкую молодую колонистку. Хотя, возможно, это вовсе не они ее породили: возможно, основная заслуга принадлежит истории.

Она предлагает ему чаю. Он проголодался и с жадностью заглатывает два смахивающих на кирпичи ломтя хлеба с джемом из плодов опунции, также домашнего приготовления. Во время еды он ощущает на себе ее взгляд. Надо быть поосторожнее: ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела.

Под ногтями у нее не очень чисто. Сельская грязь: почетное, надо полагать, отличие.

В комнате Хелен он распаковывает чемодан. Ящики комода пусты; в громадном платяном шкафу висит лишь синий рабочий комбинезон. Если Хелен уехала, то, похоже, надолго.

Люси проводит его по дому. Напоминает о необходимости экономить воду и не загрязнять биоотстойник. Все это ему уже известно, однако он старательно слушает. Потом Люси ведет его на псарню. В прошлый его приезд тут был всего

один вольер. Теперь их пять — основательных, на бетонном фундаменте, с оцинкованными кольями и распорками, с крупноячеистой сеткой, все это тонет в тени молодых эвкалиптов. Завидев Люси, собаки — доберманы, немецкие овчарки, родезийские риджбэки, бультерьеры, ротвейлеры — приходят в волнение.

— Все сплошь сторожевые, — говорит она. — Рабочие собаки, их у меня берут на короткий срок — на неделю, на две, иногда просто на выходные. А во время летних отпусков мне сдают домашних животных.

— Кошек тоже? Ты кошек берешь?

— Зря смеешься. Я подумываю о том, чтобы заняться кошками. Просто мне пока некуда их приткнуть.

— А место на рынке ты арендуешь по-прежнему?

— Да, в субботу по утрам. Я возьму тебя с собой.

Вот так она и зарабатывает на жизнь: псарня, продажа цветов и овощей. Что может быть проще?

— Они у тебя не скучают? — Он показывает на одну из собак, рыжеватую, сидящую в отдельном вольере бульдожиху, которая, не потрудившись даже привстать, мрачно взирает на них, уложив

голову на лапы.

— Кэти? Ее бросили. Владельцы ударились в бега. Счет не оплачивается уже несколько месяцев. Не знаю, что мне с ней делать. Наверное, попробую найти для нее новый дом. Она грустит, а так с ней все в порядке. Мы каждый день выводим ее размяться. Я или Петрас. Это часть нашего с ним договора.

— Петрас?

— Ты с ним еще познакомишься. Петрас — это мой новый помощник. На самом-то деле совладелец — с марта месяца. Неплохой малый.

Он проходит с ней мимо земляной запруды, на которой мирно восседает утиное семейство, мимо ульев, по огороду: цветники, зимние овощи — цветная капуста, картофель, свекла, мангольд, лук. Они навещают насос и пруд на границе ее владений. Дожди в последние два года шли хорошие, уровень воды высок.

Люси с удовольствием рассказывает обо всем этом. Фермер-колонизатор нового поколения. В прежние времена — скот и кукуруза. Ныне — собаки и нарциссы. Чем больше все меняется, тем неизменнее остается. История повторяется, только выглядит поскромнее. Возможно, и история кое-чему научилась.

Назад они идут вдоль оросительной канавы. Босые ступни Люси оставляют четкие отпечатки на красной земле. Крепкая женщина, поглощенная своей новой жизнью. Замечательно! Если это то, что после него останется — дочь, вот эта женщина, — значит, ему нечего стыдиться.

— Тебе вовсе не обязательно меня развлекать, — говорит он уже в доме. — Я привез с собой книги. Все, что мне нужно, это стол и стул.

— Ты над чем-то работаешь? — осторожно спрашивает она.

Его работа не принадлежит к числу тем, на которые им часто случалось беседовать.

— Есть кое-какие планы. Нечто о последних годах Байрона. Не книга, вернее, не того сорта книга, какие я писал раньше. Скорее, что-то для сцены. Слова и музыка. Персонажи разговаривают и поют.

— Не знала, что у тебя еще сохранились такие амбиции.

— Решил, что могу позволить себе такое удовольствие. Хотя дело не только в нем. Человеку хочется что-то оставить после себя. По крайней мере, мужчине хочется. Женщине в этом отношении легче.

— Это почему же женщине легче?

— Я хотел сказать, легче создать нечто, обладающее собственной жизнью.

— А отцовство, выходит, не в счет?

— Отцовство… Я все никак не могу отделаться от мысли, что в сравнении с материнством отцовство штука довольно абстрактная. Но давай подождем и посмотрим, что выйдет из моей затеи. Если что-то получится, ты будешь первой слушательницей. Первой и, скорее всего, последней.

— Ты собираешься сам писать музыку?

— Музыку я по большей части заимствую. На этот счет меня никакие угрызения совести не томят. Поначалу я думал, что тема требует роскошной оркестровки. Ну, нечто вроде Штрауса. Но мне этого не потянуть. Теперь я склоняюсь к иному, к самому скромному аккомпанементу — скрипка, виолончель, гобой или, может быть, фагот. Но это все принадлежит пока царству идей. Я не написал ни единой ноты — пришлось заниматься другими делами. Ты, полагаю, слышала о моих неприятностях.

— Роз что-то такое говорила по телефону.

— Ладно, не будем сейчас в это вдаваться. Как-нибудь в другой раз.

— Ты оставил университет навсегда?

— Я вышел в отставку. Вернее, меня вышли.

— Будешь скучать по нему?

— Скучать? Не знаю. Я был не ахти каким преподавателем. Как выяснилось, мы со студентами все хуже понимали друг друга. Они не давали себе труда слушать то, что я хотел им сказать. Так что скучать я, вероятно, не буду. Скорее всего, я буду радоваться свободе.

В проеме двери возникает высокий мужчина в синем комбинезоне, резиновых сапогах и шерстяной шапочке.

— Входи, Петрас, познакомься с моим отцом, — говорит Люси.

Петрас вытирает сапоги. Они обмениваются рукопожатиями. Морщинистое обветренное лицо, проницательный взгляд. Сорок? Сорок пять?

Петрас поворачивается к Люси.

— Аэрозоль, — говорит он. — Я пришел за аэрозолем.

— Он в комби. Подожди, я принесу.

Он остается наедине с Петрасом.

— Так это вы ухаживаете за собаками? — спрашивает он, чтобы прервать молчание.

— Ухаживаю за собаками и работаю в огороде. Да, — Петрас широко улыбается. — Садовник и собачник. — На миг он задумывается. — Собач-

ник, — повторяет он, смакуя это слово.

— Я только что из Кейптауна. По временам меня там тревожила мысль, что дочь сидит здесь совсем одна. Уж больно далеко от людей.

— Да, — говорит Петрас, — это опасно.

Пауза.

— Нынче все опасно. Но у нас тут вроде бы спокойно.

И он улыбается снова.

Возвращается с бутылочкой в руках Люси.

— Дозу ты знаешь: чайная ложка на десять литров воды.

— Да, знаю, — и Петрас, пригнувшись, выходит в низковатую дверь.

— Похоже, хороший человек, — замечает он.

— У него есть голова на плечах.

— Он прямо здесь и живет?

— В старой конюшне, вместе с женой. Я провела туда электричество. Там довольно уютно. Другая его жена живет с детьми, в том числе взрослыми, в Аделаиде. Время от времени он уезжает, чтобы побыть с ними.

Предоставив Люси ее занятиям, он отправляется на прогулку и доходит до дороги на Кентон. Холодный зимний день, солнце уже опускается к красным холмам, поросшим редкой поблекшей

травой. Скудная земля, скудная почва, думает он. Изнуренная. Только для коз и годится. Неужели Люси и впрямь вознамерилась прожить здесь всю жизнь? Хочется надеяться, что это лишь временная причуда.

Стайка детей, возвращающихся из школы, проходит мимо. Он здоровается, дети тоже. Сельский обычай. Кейптаун уже отступает в прошлое.

Без предупреждения возвращается воспоминание о девушке: о ее ладных грудках с глядящими вверх сосками. Дрожь желания пронизывает его. Очевидно, чем бы ни было происшедшее с ним, оно покамест не кончилось.

Он возвращается в дом, заканчивает разборку чемодана. Много времени прошло с тех пор, как он жил в одном доме с женщиной. Следует помнить о правилах, соблюдать аккуратность.

„Пышная“ — слово для Люси скорее лестное. Скоро она станет просто-напросто грузной. Перестанет следить за собой, как это случается с теми, кто удаляется за пределы любви. „Qu'est devenu ce front poli, ces cheveux blonds, sourcils voutes?“[18]

Ужин прост: суп с хлебом, бататы. Обычно

[18] notes: 18

„Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос? Где брови-стрелы?“ — цитата из „Жалобы Прекрасной Оружейницы“ Ф. Вийона (Пер. с фр. Ф. Мендельсона).

ему бататы не нравятся, но Люси состряпала из лимонной кожуры, масла и гвоздики нечто, сделавшее их съедобными, и даже более чем.

— Ты надолго? — спрашивает она.

— На неделю. Будем считать, на неделю. Вытерпишь меня столько времени?

— Оставайся на сколько хочешь. Я только боюсь, тебя скука одолеет.

— Не одолеет.

— А куда поедешь потом, через неделю?

— Пока не знаю. Возможно, просто отправлюсь бродяжить, надолго.

— Ну, в общем, добро пожаловать и оставайся.

— Очень мило, что ты так говоришь, дорогая, но мне хотелось бы сохранить твою дружбу. А долгие визиты — это не для добрых друзей.

— А что если мы не будем пользоваться словом „визит“? Назовем это пристанищем? Получить пристанище на неопределенный срок ты согласен?

— Ты имеешь в виду убежище? Мои дела не так уж и плохи, Люси. Я не изгой.

— Роз говорила, что обстановка там сложилась премерзкая.

— Тут я сам виноват. Мне предложили компромисс, я не согласился.

— Что за компромисс?

— Перевоспитание. Исправление характера. Кодовое обозначение курса психотерапии.

— Ты столь совершенен, что не можешь пройти небольшой курс?

— Все это слишком напоминает мне Китай времен Мао. Отречение, самокритика, публичные мольбы о прощении. Я человек старомодный и предпочитаю, чтобы меня просто-напросто поставили к стенке и расстреляли. Давай не будем об этом.

— Расстреляли? За интрижку со студенткой? Кара несколько чрезмерная, ты не находишь? Этак можно всех преподавателей перестрелять. Такие вещи наверняка происходят каждый день. Во всяком случае, происходили, когда я была студенткой. Наказывать каждого, кто в них повинен, значит попросту обречь преподавателей на истребление.

Он пожимает плечами.

— Мы живем в эпоху пуританизма. Личная жизнь стала всеобщим достоянием. А зудливое любопытство к ней обрело респектабельность — любопытство и сентиментальность. Людям нужен спектакль: биение кулаками в грудь, раскаяние, по возможности слезы. В общем и целом,

телевизионное шоу. Я им такого одолжения не сделал.

Ему хочется добавить: „По правде сказать, они собирались меня кастрировать“, но он не может произнести подобные слова в присутствии дочери. Строго говоря, и эта его тирада, которую он слышит теперь ушами другого человека, выглядит мелодраматичной, чрезмерно напыщенной.

— То есть ты стоял на своем, а они на своем. Так?

— Более-менее.

— Нельзя быть таким непреклонным, Дэвид. Непреклонность — не признак героизма. У тебя осталось время, чтобы передумать?

— Нет, приговор окончательный.

— Без права на апелляцию?

— Без права. Да я и не жалуюсь. Нельзя признать себя виновным в разврате и ожидать в ответ излияний сочувствия. Во всяком случае, по достижении определенного возраста. После которого человек просто уже не может апеллировать к чему бы то ни было. Остается крепиться и доживать остаток жизни. Положи мне еще.

— Что ж, очень жаль. Живи у меня сколько захочешь. На любых основаниях.

Спать он ложится рано. Среди ночи его будит

взрыв собачьего лая. Особенно неутомимо гавкает один из псов: механически, без перерывов; другие присоединяются к нему, потом затихают, потом, не желая признать поражение, вступают снова.

— Тут у вас каждую ночь так? — утром спрашивает он у Люси.

— К этому привыкаешь. Извини.

Он качает головой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он забыл, насколько холодными могут быть зимние утра в нагорьях Восточного Кейпа, и не прихватил с собой необходимой одежды: приходится позаимствовать у Люси свитер.

Засунув руки в карманы, он бродит между цветников. По кентонской дороге проносится невидимый отсюда автомобиль, рев его медлит в спокойном воздухе. Высоко в небе цепочкой пролетают гуси. Куда девать время?

— Не хочешь пойти прогуляться? — спрашивает за его спиной Люси.

Они берут с собой трех собак: двух молодых доберманов — Люси ведет их на поводках — и бульдожью суку, брошенную.

Сука, подняв уши торчком, пытается прогадиться. Ничего у нее не выходит.

— У нее проблемы, — говорит Люси. — Придется лечить.

Сука, свесив язык и поводя глазами из стороны в сторону, как бы от стыда, что за ней наблюдают, продолжает тужиться.

Они сходят с дороги, бредут подлеском, потом

редкой сосновой рощей.

— Та девушка, с которой ты связался, — говорит Люси, — это было серьезно?

— Розалинда пересказала тебе нашу историю?

— Не во всех подробностях.

— Она примерно из этих же мест. Из Джорджа. Состояла в одной из групп, в которых я вел занятия. Как студентка — всего лишь сносная, но очень милая. Серьезно? Не знаю. Вот последствия определенно оказались серьезными.

— Но теперь-то все кончено? Или ты еще тоскуешь по ней?

Кончено? Он тоскует?

— Мы больше не поддерживаем отношений, — говорит он.

— Почему она пожаловалась на тебя?

— Этого она мне не сказала, а случая спросить не представилось. Она попала в трудное положение. Был там один молодой человек, не то любовник, не то бывший любовник. Были трудности с учебой. Потом родители ее что-то прослышали и нежданно-негаданно прикатили в Кейптаун. Думаю, напряжение оказалось для нее непосильным.

— А тут еще ты.

— Да, тут еще я. Полагаю, ей было со мной

нелегко.

Они доходят до ворот с надписью „САППИ индастриз. Вход строго воспрещен“. Поворачивают назад.

— Ладно, — говорит Люси, — ты своё заплатил. Возможно, оглядываясь назад, она думает о тебе не так уж и плохо. Женщинам присуща редкостная способность прощать.

Наступает молчание. Это что же, Люси, его дитя, вознамерилась объяснить ему, что такое женщины?

— Ты не думал о том, чтобы снова жениться? — спрашивает Люси.

— Ты хочешь сказать, на женщине одних со мной лет? Не гожусь я в мужья, Люси. Ты же видела, знаешь.

— Да, но…

— Что „но“? Но охотиться за детьми дело недостойное?

— Я не об этом. Просто чем дальше, тем тебе будет труднее.

Никогда еще они с Люси не разговаривали о его интимной жизни. Нелегкое, оказывается, дело. Но если не с ней, с кем еще он может поговорить?

— Помнишь, у Блейка? — говорит он. — „Лучше убить дитя в колыбели, чем сдерживать буйные

страсти“[19].

— Почему ты мне это цитируешь?

— Задавленные желания могут выглядеть в старике такими же безобразными, как и в юноше.

— И что же?

— От каждой женщины, с которой я был близок, я узнавал о себе нечто новое. В этом смысле они делали меня лучше, чем я был.

— Надеюсь, ты не претендуешь на обратное. На то, чтобы узнававшие тебя молодые женщины становились лучше, чем были.

Он внимательно вглядывается в лицо Люси. Люси улыбается.

— Шутка, не более, — говорит она.

Они возвращаются к гудронной дороге. На повороте к ферме висит красочный указатель, которого он раньше не заметил: „Срезанные цветы. Саговые пальмы“, — и стрелка: „1 км“.

— Саговые пальмы? — говорит он. — Я полагал, ими торговать запрещено.

— Запрещается выкапывать дикорастущие. А я выращиваю их из семян. Я тебе потом покажу.

Они идут дальше; молодые псы, желая освободиться, натягивают поводки, сука, пыхтя,

---

[19] notes: 19

„Пословицы ада“ (Пер. с англ. А. Сергеева).

плетется сзади.

— А ты? Это и есть то, чего ты хочешь от жизни? — он машет рукой в сторону огорода и дома с поблескивающей под солнцем крышей.

— Не так уж и мало, — негромко отвечает Люси.

Суббота, базарный день. Люси, как договорились, будит его в пять утра, принеся чашку кофе. Холодно; укутавшись, они идут в огород, где Петрас уже срезает при свете галогеновой лампы цветы.

Он предлагает подменить Петраса, но пальцы его скоро коченеют настолько, что ему становится невмоготу вязать букеты. Вернув бечевку Петрасу, он занимается тем, что обертывает цветы и укладывает их в коробки.

К семи, когда свет утра уже ложится на холмы и начинают просыпаться собаки, работа заканчивается. В комби грузятся коробки с цветами, ящики с картошкой, луком, капустой. Люси садится за руль, Петрас остается дома. Обогреватель в машине не работает; Люси, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло, выруливает на ведущую к Грейам-стауну дорогу. Он сидит рядом, жуя приготовленный ею бутерброд. Из носу капает; он надеется, что Люси этого не замечает.

Итак, новое переживание. Дочь, которую он когда-то возил в школу и в балетные классы, в цирк и на каток, теперь везет его на экскурсию, показывает ему жизнь, показывает этот другой, незнакомый мир.

На Донкин-сквер торговцы уже устанавливают столы на козлах, раскладывают на них товары. В воздухе витает запах подгоревшего мяса. Холодный туман висит над городом; люди потирают ладони, притопывают, костерят все на свете. Демонстрируют взаимное дружелюбие, от чего Люси, к его облегчению, воздерживается.

Их место — в той части рынка, что отведена, судя по всему, под торговлю съестным. Слева от них три африканки продают молоко, masa, масло и еще — суповые кости из накрытого влажной тряпицей ведра. Справа — старая чета африканеров, с которыми Люси здоровается, называя их тетушкой Мьемс и дядюшкой Коосом; старикам помогает мальчонка лет десяти, никак не больше, в вязаном шлеме. Как и Люси, они привезли на продажу лук и картошку, но кроме того, джем и варенье в банках, сухие фрукты, пакетики с рутовым и мелиантусовым чаем, с травами.

Люси приносит два парусиновых табурета. В ожидании первых покупателей они пьют кофе

из термоса.

Две недели назад он объяснял скучающим в аудитории юнцам различие между „пить“ и „выпить“, „гореть“ и „обгореть“. Совершенный вид, обозначающий действие, выполненное до конца. Каким далеким все это кажется! Я живу, я жил, я прожил.

Картофелины Люси, разложенные по пакетам в один бушель каждый, отмыты дочиста. У Кооса и Мьемс они покрыты присохшими комочками земли. За это утро Люси зарабатывает почти пятьсот рандов. Хорошо расходятся цветы; к одиннадцати она снижает цену и распродает остатки. Бойко идет торговля и у мясомолочного лотка; а вот у стариков супругов, деревянно, без улыбок сидящих бок о бок, дела подвигаются хуже.

Многие покупательницы знают Люси по имени: в большинстве своем это средних лет женщины, в отношении которых к Люси сквозит нечто собственническое, как будто ее успех принадлежит и им тоже. Люси представляет его каждой из них:

— Познакомьтесь с моим отцом, Дэвидом Лури, он приехал из Кейптауна, погостить.

— Вы должны гордиться вашей дочерью, мистер Лури.

— Да, конечно, я очень горжусь, — отвечает он.

— Бев управляет приютом для животных, — говорит Люси после одного из таких знакомств. — Я ей иногда помогаю. Мы заглянем к ней на обратном пути, если ты не против.

Бев Шоу, кряжистая, суетливая коротышка без шеи, с покрытой темными веснушками кожей и коротко остриженными жесткими волосами, ему несимпатична. Он не в восторге от женщин, не предпринимающих ровно никаких усилий, чтобы выглядеть привлекательными. Подобную же неприязнь подруги Люси вызывали у него и прежде. Гордиться тут нечем: это предрассудок, который пролез в его разум да и засел там. Разум его обратился в приют для престарелых мыслей, бездеятельных, нуждающихся, тех, которым некуда больше податься. Надо бы выгнать их взашей и дочиста вымести помещение. Но ему все как-то не до того — или просто неохота.

Лига защиты животных, бывшая некогда приметной в Грейамстауне благотворительной организацией, ныне свою деятельность прекратила. Однако горстка добровольцев во главе с Бев Шоу все еще держит клинику в прежнем ее помещении.

Он ничего не имеет против людей, которые обожают животных, людей, с которыми Люси

водилась с тех пор, как он ее помнит. Поэтому, когда Бев Шоу открывает входную дверь своего дома, он сооружает благодушную гримасу, хотя на самом деле встречающий их запах кошачьей мочи, шелудивых собак и примочки Джейеса ему отвратителен.

Дом в точности таков, как он себе представлял: дрянная мебель, хаос безделушек (фарфоровые пастушки, коровьи колокольца, мухобойка из страусовых перьев), стенания радиоприемника, щебет птиц в клетках и повсюду кошки. Присутствует не только Бев, но также и Билл Шоу (пьет чай за кухонным столом), такой же кряжистый, в свитере с растянутым воротом, со свекольно-красной физиономией и серебристыми волосами.

— Садитесь, Дэв, садитесь, — говорит Билл. — Будьте как дома, выпейте чашечку.

Утро получилось долгое, он устал, и светская беседа с этими людьми о тонкостях их ремесла — последнее, в чем он нуждается. Он бросает взгляд на Люси.

— Мы ненадолго, Билл, — говорит она. — Просто зашли за кое-какими лекарствами.

В окно виден их задний двор: яблони, роняющие червивые плоды, буйство сорных трав, забор из оцинкованного листового железа, деревянные

лежаки, старые покрышки, в середках которых роются куры, и совершенно неожиданная здесь дремлющая в углу хохлатая антилопа.

— Ну, как они тебе? — уже в машине спрашивает Люси.

— Не хочу быть грубым. Безусловно, это особая субкультура. Дети у них есть?

— Нет, детей нет. Не стоит недооценивать Бев. Она не дура. И приносит очень, очень большую пользу. Она уже много лет в клинике, сначала работала на Лигу, теперь самостоятельно.

— Боюсь, это игра на проигрыш.

— Разумеется. Никто ее больше не финансирует. Животные в перечне государственных приоритетов не значатся.

— Она, должно быть, впала в уныние. Да и ты тоже.

— Да. Нет. А это важно? По крайней мере, животные, которым она помогает, уныния не испытывают. Они испытывают большое облегчение.

— Ну что ж, и прекрасно. Прости, девочка, мне просто трудно проникнуться интересом к этой теме. То, что она делает, то, что делаешь ты, замечательно, но, по мне, адепты защиты животных смахивают на определенного пошиба христиан.

Все такие бодрые, у всех такие благие помыслы, что через какое-то время тебя охватывает неодолимое желание изнасиловать кого-нибудь или ограбить. Или хоть кошку ногой пнуть.

Он сам удивляется, что так вспылил. Настроение у него вовсе не дурное, ничуть.

— Ты считаешь, что мне следует заняться вещами поважнее, — говорит Люси. Они уже едут по шоссе; Люси ведет машину и не глядит на него. — По-твоему, раз я твоя дочь, я обязана как-то получше распорядиться своей жизнью.

Он уже качает головой.

— Нет… нет… нет… — бормочет он.

— Ты считаешь, что я должна писать натюрморты или учить русский язык. Тебе не нравятся друзья вроде Бев и Билла Шоу, потому что они не способны ввести меня в светское общество.

— Это не так, Люси.

— Именно так. Они и не способны ввести меня в светское общество — по той простой причине, что ни светского общества, ни светской жизни здесь нет. Только та жизнь, которую мы ведем. И которую делим с животными. Это пример того, что пытаются создать люди, подобные Бев. Пример, которому и я пытаюсь следовать. Пытаюсь разделить с животными некоторые из наших

человеческих привилегий. Я не хочу возродиться к жизни собакой или свиньей и жить так, как живут рядом с нами собаки и свиньи.

— Люси, дорогая, не злись. Да, я согласен, это единственная жизнь, какая здесь есть. Что до животных, так ради бога, давайте будем добры к ним. Но давайте не терять при этом перспективы. Мы не животные, мы существа иного порядка. Не обязательно более высокого, просто иного. Так что, если мы намерены проявлять по отношению к ним доброту, давайте проявлять ее из великодушия, а не потому, что мы чувствуем себя виноватыми или страшимся возмездия.

Люси набирает воздуху в грудь. Похоже, ей хочется ответить на его проповедь, но нет, она не отвечает. К дому они подъезжают в молчании.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Он сидит в гостиной, смотрит по телевизору футбол. Счет нулевой, похоже, ни одна из команд к победе не рвется.

Репортаж ведется поочередно на двух языках — суто и коса, — оба ему неизвестны. Он убавляет звук до неразборчивого бормотания. Субботний вечер в Южной Африке, священное время мужских развлечений. Он начинает клевать носом.

Когда он просыпается, рядом с ним на софе сидит Петрас с бутылкой пива в руке. Петрас прибавил звук.

— „Смельчаки из глуши“, — говорит Петрас. — Моя любимая команда. „Смельчаки“ против „Парней с заката“.

„Парни с заката“ получают угловой. Свалка в штрафной площадке. Петрас стонет, схватясь руками за голову. Когда пыль оседает, вратарь „Смельчаков“ лежит на земле, прижав к груди мяч.

— Молодец! Молодец! — восклицает Петрас. — Отличный вратарь! Такого нельзя отпускать.

Игра заканчивается вничью. Петрас переклю-

чает каналы. Бокс: двое, такие маленькие, что едва достают рефери до груди, кружат по рингу, подскакивая, мутузя друг друга.

Он встает, бредет в глубь дома. Люси лежит на кровати, читая книгу.

— Что читаешь? — спрашивает он.

Она недоуменно глядит на него, потом вынимает из ушей вставные наушники.

— Что читаешь? — повторяет он и следом: — Похоже, не получилось, а? Мне уехать?

Люси улыбается, откладывает книгу. „Тайна Эдвина Друда“. Вот уж не ожидал.

— Присядь, — говорит она.

Он садится на кровать, неторопливо гладит ее по голой ноге. Симпатичная нога, стройная. Хороший костяк, как у ее матери. Женщина в расцвете лет, привлекательная, несмотря на ее грузность, на не красящую ее одежду.

— На мой взгляд, Дэвид, все получилось прекрасно. Я рада, что ты здесь. Просто для того, чтобы привыкнуть к ритму сельской жизни, необходимо время. Как только ты найдешь чем заняться, скука твоя испарится.

Он рассеянно кивает. Привлекательная, думает он, но потерянная для мужчин. Себя ли ему корить за это или оно все равно сложилось бы

именно так? С самого рождения дочери он не испытывал к ней ничего, кроме искренней, безудержной любви. Невозможно, чтобы она этого не знала. Быть может, его любовь оказалась для нее непосильной? Быть может, она воспринимала ее как бремя? Как гнет? Или истолковывала ее как нечто куда более нечистое?

Интересно, думает он, каково было Люси с любовниками, каково любовникам было с нею? Он никогда не боялся следовать за мыслью по ее извилистым путям, не боится и теперь. Страстную ли породил он на свет женщину? Что притягивает ее и что не притягивает в царстве чувств? Способны ли он и она разговаривать и об этом тоже? Про нее не скажешь, что она прожила жизнь под чьим-то крылом. Почему им не говорить в открытую, почему они должны проводить какие-то границы — во времена, когда о таковых все и думать забыли?

— Как только найду чем заняться, — говорит он, прерывая блуждания мысли. — И что ты предлагаешь?

— Ты мог бы помогать мне с собаками. Рубить для них мясо. Мне это всегда тяжело давалось. Потом, есть еще Петрас. Он сейчас приводит в порядок собственную землю, так что дел у него

хватает. Вот и протяни ему руку помощи.

— Протянуть Петрасу руку помощи. Неплохо. В этом выражении присутствует некая историческая пикантность. А платить за мои труды он мне будет, как ты полагаешь?

— Спроси у него. Уверена, что будет. В начале этого года он получил от министерства земледелия субсидию, которой хватило, чтобы выкупить у меня гектар с небольшим. Я тебе не говорила? Граница проходит по запруде. Запрудой мы владеем совместно. От нее и до ограды все принадлежит ему. У него корова, которая весной отелится. Две жены или жена и подружка. Если он хорошо разыграет свои карты, то сможет получить и вторую субсидию — чтобы построить дом и перебраться в него из конюшни. По меркам Восточного Кейпа, он человек состоятельный. Попроси, чтобы он тебе платил. Он может себе это позволить. Не уверена, что я смогу позволить себе и впредь пользоваться его услугами.

— Хорошо, я займусь мясом для собак, напрошусь в землекопы к Петрасу. Что еще?

— Ты можешь помогать в клинике. Там отчаянно нуждаются в помощниках.

— То есть помогать Бев Шоу?

— Да.

— Не думаю, что мы с ней поладим.

— Да тебе и не нужно с ней ладить. Только помогать ей. Однако платы не жди. Тебе придется делать это по доброте сердечной.

— Вот тут меня одолевают сомнения, Люси. Уж больно это смахивает на общественные работы. На попытку загладить былые грехи.

— Что касается твоих мотивов, Дэвид, то уверяю тебя, животные из клиники до них доискиваться не станут. Они не будут задавать тебе никаких вопросов, им все едино.

— Ладно, займусь и этим. Но при одном условии: что в результате я не стану лучше, чем есть. К исправлению я не готов. Предпочитаю остаться самим собой. Таково мое условие. — Он все еще не снял ладони с ноги Люси и теперь крепко сжимает ее колено. — Это понятно?

Она награждает его улыбкой, которую он может назвать только обворожительной.

— Так ты решил остаться дурным человеком. Сумасшедшим, дурным, опасным для окружающих. Обещаю, никто не попросит тебя измениться.

Люси поддразнивает его, как когда-то поддразнивала ее мать. Хотя остроумие Люси, если правду сказать, потоньше. Его всегда влекло к остроумным женщинам. Остроумным и краси-

вым. И как бы ему того ни хотелось, в Мелани он никакого остроумия не отыскал. Зато красоты в ней было хоть отбавляй.

И снова она пронизывает его — легкая дрожь сладострастия. Он знает, что Люси наблюдает за ним. Похоже, он так и не научился скрывать эту дрожь. Забавно.

Он поднимается, выходит во двор. Собаки помоложе радуются, увидев его: бегают взад-вперед по вольерам, поскуливая от нетерпения. Но старая бульдожиха почти не шевелится.

Он входит в ее вольер, закрывает за собой дверь. Бульдожиха поднимает голову, оглядывает его и снова роняет голову на пол; старые соски ее вяло обвисли.

Присев на корточки, он щекочет бульдожиху за ухом.

— Бросили нас, верно? — шепчет он.

Он вытягивается рядом с ней на голом бетоне. Бледное небо вверху. Руки и ноги его обмякают.

Таким его и находит Люси. Он, должно быть, заснул: первое, что он осознает, это присутствие в вольере дочери с бидоном воды в руках; сука, встав, обнюхивает ее ноги.

— Обзаводишься друзьями? — спрашивает Люси.

— С ней не больно-то подружишься.

— Бедная старушка Кэти в трауре. Никому она не нужна и знает это. Самое смешное, что у нее, скорее всего, куча отпрысков в окрестностях, и все они были бы рады разделить с ней кров. Но пригласить ее к себе не в их власти. Они — часть обстановки, часть тревожной сигнализации. Они оказывают нам честь, относясь к нам как к богам, а мы в ответ относимся к ним как к неодушевленным существам.

Они выходят из вольера. Сука кучей валится на пол, закрывает глаза.

— Отцы церкви долго спорили на их счет и в конце концов решили, что настоящих душ у них нет, — замечает он. — Души животных привязаны к их телам и умирают вместе с ними.

Люси пожимает плечами:

— Не уверена, что у меня есть душа. И если бы я повстречала чью-то душу, я бы ее не признала.

— Это неверно. Ты сама и есть душа. Все мы — души. И были ими еще до рождения.

Она как-то странно глядит на него.

— Что ты с ней будешь делать? — спрашивает он.

— С Кэти? Если придется, оставлю у себя.

— Ты не усыпляешь животных?

— Нет, я — нет. Бев, та усыпляет. Это работа, выполнять которую никто не желает, вот она и взяла ее на себя. И ужасно от этого страдает. Ты недооцениваешь Бев. Она куда более интересный человек, чем тебе кажется. Даже по твоим собственным меркам.

По собственным его меркам… А каковы они? Заслуживает ли эта коренастая, малорослая женщина с неприятным голосом того, чтобы ее игнорировали? Тень горестного сожаления осеняет его — о Кэти, о себе, обо всех. Он глубоко вздыхает, не пытаясь скрыть вздоха.

— Прости меня, Люси, — говорит он.

— Простить тебя? За что? — Она улыбается, легко, насмешливо.

— За то, что я один из двух смертных, которым было назначено привести тебя в мир, и за то, что я оказался не лучшим из поводырей. Но я пойду и стану помогать Бев Шоу. При условии, что мне не придется называть ее „Бев“. Глупо носить такое имя. Меня оно наводит на мысль о скоте. Когда начать?

— Я ей позвоню.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На вывеске клиники значится: „Лига защиты животных. Филиал 1529“. Ниже были когда-то указаны часы приема, но теперь эта строчка заклеена. У двери очередь, некоторые из стоящих в ней привели с собой животных. Как только он вылезает из машины, его окружает стайка детей, одни клянчат деньги, другие просто глазеют. Он проталкивается сквозь них и сквозь неожиданную какофонию, порожденную двумя рычащими, грызущимися собаками; хозяева с трудом растаскивают их.

Маленькая голая приемная набита битком. Чтобы попасть вовнутрь, ему приходится наступать на чьи-то ноги.

— Где миссис Шоу? — спрашивает он.

Старуха кивает в сторону задернутого пластиковой занавеской дверного проема. Старуха держит на короткой веревке козла; козел нервно таращится, не отрывая глаз от собак, копытца его пощелкивают по жесткому полу.

Во внутренней, наполненной едким смрадом мочи комнате работает у низкого стеклянного

столика Бев Шоу. Подсвечивая себе тоненьким фонариком, она всматривается в глотку молодого пса, похожего на помесь риджбэка с шакалом. Босой мальчишка, очевидно владелец пса, стоит на коленях прямо на столике, зажав голову пса под мышкой и стараясь удерживать его челюсти раскрытыми. Мощный зад пса напряжен, из горла исходит низкое, переливистое рычание. Он неловко включается в борьбу, притискивает одну к другой задние лапы пациента, надавливает на них, вынуждая пса сесть.

— Спасибо, — говорит Бев Шоу. Лицо у нее багровое. — Там образовался нарыв из-за того, что растущий зуб зажат двумя другими. Антибиотиков у нас нет, поэтому… держи его крепче, boytjie!.. поэтому придется просто вскрыть нарыв и надеяться на лучшее.

Она тычет в песью пасть ланцетом. Пес страшно дергается, пытаясь высвободиться из его рук, почти вырываясь из объятий мальчика. Он снова сжимает горемыку, скребущего, в попытке соскочить со стола, лапами по стеклу; на какой-то миг глаза пса, полные гнева и страха, встречаются с его глазами.

— На бок — вот так, — говорит Бев Шоу. Издавая воркующие звуки, она сноровисто ухватывает

пса и валит его на бок. — Ремень, — говорит она. Он захлестывает тело пса ремнем, и Бев застегивает пряжку. — Так, — говорит Бев. — Думайте о чем-нибудь приятном, о здоровье и силе. Они способны унюхать ваши мысли.

Он наваливается на пса всем телом. Мальчик, предусмотрительно обмотав руку старым тряпьем, ухитряется снова раздвинуть песьи челюсти. У пса выкатываются от ужаса глаза. „Они способны унюхать ваши мысли“… Какая нелепость! „Тише, тише!“ — бормочет он. Бев Шоу еще раз тычет ланцетом. Пес давится воздухом, напрягается как струна, потом обмякает.

— Ну вот, — говорит Бев, — теперь пусть о нем позаботится природа.

Она расстегивает ремень, произносит, обращаясь к мальчику, несколько слов на языке, похожем на запинающийся коса. Спущенный на пол пес уползает под стол. Стеклянная поверхность стола покрыта брызгами крови и слюны. Бев вытирает ее. Мальчик уговаривает пса вылезти.

— Спасибо, мистер Лури. Вы появились очень вовремя. Я чувствую, что вы любите животных.

— Люблю ли я животных? Я ими питаюсь, так что, пожалуй, люблю, частично.

Прическа ее представляет собой плотную копну мелких локонов. Интересно, она сама их завивает, щипцами? Навряд ли: это занимало бы каждый день по нескольку часов. Отродясь не видал он вблизи такой tessitura[20]. Прожилки на ушах Бев походят на красно-лиловую филигрань. Как, собственно, и на носу. Хорош также подбородок, будто зоб у голубя, растущий прямиком из груди. В общем, ансамбль на редкость непривлекательный.

Она размышляет над сказанным, видимо, оставшись глухой к его тону.

— Да, в нашей стране съедают множество животных, — говорит она. — Не похоже, что это приносит нам большую пользу. Не знаю, как мы сможем оправдаться перед ними. — И затем: — Займемся следующим?

„Оправдаться“? Когда? В день Великой Расплаты? Любопытно было бы побольше услышать об этом, но сейчас не время.

Козел, совсем уже взрослый, едва способен ходить. Половина его мошонки, желто-лиловая, вздулась, как воздушный шарик, другая покрыта запекшейся кровью и грязью. „Это его собаки

---

[20] notes: 20
Здесь: текстура, сплетение *(итал.)*.

порвали“, — объясняет старуха. Впрочем, выглядит он достаточно бодрым, веселым, боевитым. Пока Бев Шоу осматривает его, он короткой очередью выстреливает на пол несколько катышей. Старуха, держащая козла за рога, притворно его бранит.

Бев Шоу прикасается к мошонке тампоном. Козел лягается.

— Сумеете связать ему ноги? — спрашивает она и показывает как.

Он привязывает правую заднюю ногу козла к правой передней. Тот снова пытается лягнуться, но лишь пошатывается. Бев мягко протирает рану тампоном. Козел дрожит, блеет: неприятный звук, низкий и хриплый.

Когда грязь сходит, он видит, что в ране кишат белые черви, помавающие слепыми головками в воздухе. Его передергивает.

— Мясные мухи, — говорит Бев. — По меньшей мере, недельные. — Она поджимает губы. — Вам следовало давным-давно привести его к нам, — говорит она старухе.

— Да, — отвечает та, — собаки совсем замучили. Экая жалость, экая жалость! Такого самца меньше чем за пять сотен рандов не купишь.

Бев Шоу выпрямляется.

— Прямо не знаю, как и быть. Чтобы самой произвести ампутацию, мне не хватит опыта. По четвергам принимает доктор Остхейзен, хозяйка может дождаться его, но бедняга все равно останется стерильным, а нужно ли ей это? Да еще антибиотики. Готова ли она потратиться на антибиотики?

Бев снова опускается рядом с козлом на колени, утыкается макушкой ему в шею, поглаживает ее снизу вверх шапкой своих волос. Козел дрожит, но стоит спокойно. Бев жестом велит старухе отпустить рога. Старуха подчиняется. Козел стоит без движения.

Бев переходит на шепот:

— Ну что скажешь, дружок? — слышит он. — Что скажешь? Может быть, хватит?

Козел стоит неподвижно, словно загипнотизированный. Бев Шоу продолжает поглаживать его головой. Кажется, что и сама она впала в транс.

Наконец она встряхивается и встает.

— Боюсь, слишком поздно, — говорит она старухе. — Я не в силах помочь ему. Вы можете подождать до четверга, в четверг будет врач, или оставьте его у меня. У него будет легкий конец, он позволит мне сделать это для него. Ну что? Оставите?

Старуха колеблется, затем отрицательно трясет головой. И тянет козла к двери.

— Вы можете привести его ко мне попозже, — говорит Бев Шоу. — Я помогу ему уйти, вот и все.

Хоть Бев и пытается справиться с голосом, он слышит в нем нотки поражения. И козел тоже их слышит: он дергается, пытаясь выпутаться из ремня, взбрыкивая, пригибаясь; непристойная опухоль трясется у него под хвостом. Старуха сдирает ремень, бросает в сторону. Они уходят.

— О чем это вы говорили? — спрашивает он.

Бев Шоу закрывает лицо, сморкается.

— Ничего, ничего. Я держу для плохих случаев достаточно летала, но принуждать владельцев животных мы не вправе. Это их животные, и они предпочитают убивать их по-своему. Какая жалость! Такой достойный малый, храбрый, прямой, уверенный в себе!

Летал — название лекарства? Он не стал бы пользоваться таким вне стен фармацевтической компании. Внезапная тьма, восстающая из вод Леты.

— Возможно, он понял больше, чем вам кажется, — говорит он. К собственному изумлению, он пытается утешить ее. — Возможно, бедолага уже проходил через это. Родился с предвидением,

так сказать. В конце концов, это Африка. Козлы и козы жили здесь с начала времен. Им не надо объяснять, что такое сталь и огонь. Они знают, как приходит смерть. Рождаются подготовленными.

— Вы так считаете? — говорит Бев. — А вот я не уверена. Не думаю, что мы готовы умереть, любой из нас, без того, чтобы кто-то нас проводил.

Все начинает вставать на места. У него появляются первые отдаленные представления о задаче, выполнение которой взвалила на свои плечи эта маленькая некрасивая женщина. Унылое строение, в котором она работает, это не место целения — ее врачевание выглядит для этого слишком любительским, — но последний приют. Он вспоминает рассказ о… — кто это был? святой Губерт? — о человеке, давшем прибежище задыхающемуся оленю, который, обезумев, ворвался в его часовню, спасаясь от охотничьих собак. Бев Шоу не ветеринар, она жрица, пропитанная суевериями нью-эйджа[21] и пытающаяся, что совершенно абсурдно, облегчить бремя страдающих животных Африки. Люси полагала, что она покажется ему интересной. Люси ошиблась.

---

[21] notes: 21

Нью-эйдж (New Age) — тип современного мировоззрения, объединяющий в себе представления, почерпнутые из традиционных религий, оккультизма, шаманизма, эзотерики и т. д.

Интересная — не то слово.

Всю вторую половину дня он проводит в хирургической, помогая в меру своих возможностей. Когда уходит последний клиент, Бев ведет его во двор, на экскурсию. В птичьей клетке только один постоялец — молодой коршун-рыболов со сломанным крылом. Все остальные обитатели двора — это собаки: не ухоженные и чистокровные, как у Люси, а тощие дворняги, почти под завязку заполняющие два загона, брешущие, скулящие, подскакивающие от возбуждения.

Он помогает ей раздать сухой корм и наполнить поилки. Корма уходит два десятикилограммовых мешка.

— Как же вы все это оплачиваете? — спрашивает он.

— Покупаем оптом. Время от времени проводим сбор средств. Получаем пожертвования. Бесплатно холостим животных, за это нам выделяют субсидии.

— И кто их холостит?

— Наш ветеринар, доктор Остхейзен. Но он приходит сюда только раз в неделю, во второй половине дня.

Он смотрит, как едят собаки. Удивительно, но драк почти не происходит. Те собаки, что помель-

че и послабее, держатся сзади, смирясь со своей участью, дожидаясь очереди.

— Беда в том, что их слишком много, — говорит Бев Шоу. — Они этого, конечно, не понимают, а у нас нет способов им все объяснить. Слишком много — это по нашим меркам, не по их. Дай им волю, они все плодились бы и размножались, пока не заселили бы Землю. Им не кажется, что иметь как можно больше детей — это плохо. Чем больше, тем веселее. То же и с кошками.

— И с крысами.

— И с крысами. Да, кстати, когда придете домой, проверьте, не нахватались ли блох.

Одна из собак, наевшись — глаза ее сияют от блаженства, — обнюхивает сквозь сетку его пальцы и облизывает их.

— Они большие эгалитаристы, верно? — замечает он. — Никаких классов. Никто не представляется им слишком высокопоставленным и могущественным, чтобы у него нельзя было понюхать под хвостом.

Он приседает на корточки, позволяя собаке принюхаться к его лицу, к дыханию. У нее смышленая, как ему кажется, морда, хотя, возможно, никакой смышленостью она не отличается.

— И всем им предстоит умереть? — спраши-

вает он.

— Тем, которые никому не нужны. Мы их усыпляем.

— И занимаетесь этим вы?

— Да.

— Вам не противно?

— Противно. Еще как противно. Но я не хотела бы, чтобы это делал за меня человек, которому не противно. Вот вы — не возьметесь?

Некоторое время он молчит. Затем:

— Вы знаете, почему дочь послала меня к вам?

— Она сказала мне, что у вас неприятности.

— Не просто неприятности. То, что, как мне представляется, можно назвать бесчестьем.

Он всматривается в Бев. Похоже, она чувствует себя неловко; впрочем, не исключено, что это ему лишь кажется.

— Зная об этом, согласитесь ли вы и дальше прибегать к моим услугам?

— Если вы готовы… — Она разводит ладони в стороны, прижимает их одну к другой, снова разводит. Она не знает, что сказать, а он не приходит ей на помощь.

Прежде он останавливался у дочери лишь на короткое время. Теперь же он делит с нею ее дом, ее жизнь. Необходимо соблюдать осторожность,

не позволять старым привычкам, отцовским привычкам, тайком вернуться назад: не следует самому надевать на вертушку свежий рулончик туалетной бумаги, гасить свет, сгонять кошку с софы. Упражняйся в приготовлении к старости, наставляет он себя. Учись приспосабливаться. Упражняйся, тебе еще жить да жить в доме для престарелых.

Притворившись уставшим, он уходит после ужина в свою комнату, куда доносятся еле слышные звуки, указывающие, что Люси живет своей жизнью: скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков, бормотание радио, приглушенный разговор по телефону. Уж не в Йоханнесбург ли она звонит, не с Хелен ли разговаривает? Не его ли присутствие здесь удерживает их в разлуке? Осмелились бы они лечь вместе в постель, пока он в доме? И если бы ночью вдруг заскрипела кровать, смутились ли бы? Достаточно ли бы смутились, чтобы остановиться? Но что он знает о том, чем занимаются одна с другой женщины? Может, кровати под ними вовсе и не скрипят? И что знает он, в частности, об этих двух, Люси и Хелен? Возможно, они спят вместе так же, как спят вместе дети, крепко обнявшись, трогая друг дружку, хихикая, воскрешая девчоночьи годы, —

скорее сестры, чем любовницы? Вместе в постели, вместе в ванне, вместе пекут имбирные коврижки, примеряют платья друг дружки. Сапфическая любовь: хорошее оправдание для лишнего веса.

Правда состоит в том, что ему не по сердцу мысль о дочери, содрогающейся от страсти в объятиях другой женщины, да к тому же еще и некрасивой. Но разве стал бы он счастливее, если б любовником ее был мужчина? Чего он хочет для Люси на самом-то деле? Не того, чтобы она навсегда осталась ребенком, вечно невинной, вечно принадлежащей только ему, — определенно не этого. Но он отец, такова его доля, а отец, старея, все сильней и сильней привязывается — тут уж ничего не поделаешь — к дочери. Она обращается во второе его спасение, в невесту его возрожденной юности. Не диво, что в сказках королевы норовят затравить своих дочерей собаками!

Он вздыхает. Бедная Люси! Бедные дочери! Что за участь, какое бремя приходится им нести! Да и сыновья: им тоже невзгод хватает, хотя об этом он знает меньше.

Хорошо бы заснуть. Но он озяб, и сна у него ни в одном глазу.

Он встает, набрасывает на плечи куртку, возвращается в постель. Он читает письма Байрона

1820 года. Потучневший, пожилой в свои тридцать два, Байрон живет с семейством Гвиччиоли в Равенне: с Терезой, его услужливой коротконогой любовницей, и с ее учтивым, недоброжелательным мужем. Летняя жара, вечерние чаепития, провинциальные сплетни, почти нескрываемая зевота. „Женщины сидят кружком, мужчины играют в скучнейший фараон, — пишет Байрон. Адюльтер заставляет его вновь открыть для себя всю скуку супружества. — Я всегда считал тридцатилетие барьером на пути какого бы то ни было подлинного или неистового наслаждения страстью“.

Он опять вздыхает. Сколь кратко лето перед приходом осени, а там и зимы! Читает он за полночь, но заснуть ему так и не удается.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сегодня среда. Он поднимается рано, однако Люси все равно опережает его.

Он находит ее на запруде — любующейся дикими гусями.

— Какие же они красивые, — говорит Люси. — И каждый год возвращаются. Всегда одна и та же троица. Мне так повезло, что они меня навещают. Я кажусь себе избранной.

Троица. Это могло бы стать своего рода решением. Он, Люси и Мелани. Или он, Мелани и Сорайа.

Они завтракают, потом выводят на прогулку двух доберманов.

— Как ты думаешь, ты смог бы жить в этих местах? — ни с того ни с сего спрашивает Люси.

— Зачем? Тебе нужен новый собачник?

— Нет, я не к тому. Но ты ведь наверняка мог бы получить работу в университете Родса — у тебя же есть там связи — или в Порт-Элизабет.

— Не думаю, Люси. Я утратил рыночный потенциал. Скандал прилип ко мне, он последует за мной повсюду. Нет, если искать работу, то какую-

нибудь неприметную, вроде счетовода, если они еще существуют, или уборщика на псарне.

— Но если ты хочешь положить конец сплетням, разве тебе не следует бороться за себя? Ведь от того, что ты сбежишь, слухи только умножатся.

В детстве Люси была девочкой тихой, старавшейся не лезть на глаза; она наблюдала за ним, но, сколько он помнит, никогда никаких суждений не высказывала. Теперь, на третьем десятке лет, она начала отделяться от него. Собаки, возня с огородом, книги по астрологии, бесполая одежда — во всем узнает он попытку утвердить свою независимость, попытку обдуманную, взвешенную. К тому же сводится и стремление обходиться без мужчин. Она сама строит свою жизнь. Выходя из его тени. И прекрасно! Он это одобряет!

— По-твоему, я именно так и поступил? — спрашивает он. — Сбежал с места преступления?

— Ну, ты же устранился. С практической точки зрения тут нет никакой разницы.

— Ты, голубка моя, не поняла самой сути. То дело, которое тебе хочется, чтобы я выиграл, выиграть уже невозможно, basta. Не в наши дни. Если я и попробую, никто меня слушать не станет.

— Неправда. Даже если ты тот, кем себя считаешь, то есть динозавр в нравственном отношении, все равно каждому любопытно будет послушать говорящего динозавра. И мне не меньше других. В чем оно состоит, твое дело? Давай-ка послушаем.

Он колеблется. Действительно ли ей хочется, чтобы он открыл ей побольше интимных подробностей?

— В основе моего дела лежит право на вожделение, — говорит он. — В нем чувствуется рука того самого бога, который заставляет трепетать даже мелких пичуг.

Он видит себя в квартире девушки, в ее спальне — снаружи льет дождь, от обогревателя в углу тянет масляным запахом, он стоит над ней на коленях, раздевая ее, руки девушки свисают, как у покойницы. „Я был служителем Эроса“, — вот что он хочет сказать, но хватит ли ему на это бесстыдства? „Бог направлял меня“. Какое тщеславие! И все-таки не ложь, не целиком и полностью. Вся эта несчастная история возникла не на пустом месте, она возросла на обильной, плодородной почве — той, что дает жизнь самым красивым цветам. Если бы он только знал тогда, как мало у него времени!

Он заговаривает снова, теперь медленнее:

— Когда ты была маленькая, мы жили в Кенилворте, у наших соседей была собака, золотистый ретривер. Не знаю, помнишь ли ты ее.

— Смутно.

— Собственно, это был кобель. Стоило какой-нибудь суке появиться поблизости, как он забывал обо всем на свете, становился неуправляемым, и хозяева с павловской регулярностью лупили его. Продолжалось это до тех пор, пока бедный пес не запутался окончательно. В итоге он, почуяв запах суки, принимался метаться по двору, прижав уши, поджав хвост, скуля и норовя где-нибудь спрятаться.

Он замолкает.

— Не понимаю, к чему ты это? — спрашивает Люси.

И действительно, к чему?

— В этом зрелище было нечто настолько постыдное, что оно приводило меня в отчаяние. Мне кажется, можно наказывать собаку за какой-то проступок, скажем, за изжеванную тапку. И собака примет наказание как должное: сжевала — получи. Но вожделение — это совсем иное дело.

Ни одно животное не сочтет справедливым

наказание, полученное за то, что оно следовало своим инстинктам.

— Значит, мы должны позволить мужчинам без удержу следовать их инстинктам? В этом и состоит мораль?

— Нет, мораль не в этом. Постыдность увиденного мной в Кенилворте в том, что бедный пес возненавидел собственную природу. Его больше и бить-то было не нужно. Он старался наказать себя сам. Всего лучше было бы пристрелить его.

— Или кое-что отрезать.

— Быть может. Но думаю, в глубине души он предпочел бы пулю. Предпочел бы другим предлагаемым ему возможностям: с одной стороны, отказаться от своей природы, с другой — провести остаток дней, слоняясь по гостиной, вздыхая, обнюхивая кошку и жирея.

— И ты всегда держался таких взглядов, Дэвид?

— Нет, не всегда. Временами прямо противоположных. Считал вожделение бременем, без которого мы вполне могли бы обойтись.

— Должна сказать, — произносит Люси, — что сама я склоняюсь к последней точке зрения.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует.

— Во всяком случае, — говорит Люси, — если

вернуться к нашей теме, тебя благополучно прогнали. Твои коллеги снова могут дышать спокойно, пока козел отпущения блуждает в пустыне.

Утверждение? Вопрос? Она действительно считает его козлом отпущения?

— Не думаю, что „козел отпущения“ наилучшая формулировка, — осторожно начинает он. — Козлы отпущения приносили практическую пользу, пока за ними стояла мощь веры. Ты взваливал все грехи города на козлиную спину, выгонял его в пустыню, и готово — город очищался. Процедура срабатывала, поскольку все, включая богов, понимали значение обряда. Потом боги умерли, и вдруг выяснилось, что очищать город придется без помощи свыше. Взамен символических действий понадобились реальные. Так появился цензор[22] в римском смысле этого слова. Девизом стал надзор: надзор всех за всеми. Очищение сменилось чисткой. Опять его потянуло лекцию читать.

— Как бы там ни было, — говорит он, закругляясь, — сказав городу „прости“, какое занятие отыскал я для себя в пустыне? Лечу собак. Изоб-

---

[22] notes: 22

Одно из двух должностных лиц, следивших в Древнем Риме за благонадежностью граждан.

ражаю незаменимого помощника при женщине, которая специализируется в стерилизации и эвтаназии.

Люси смеется.

— Бев? Ты считаешь Бев частью механизма подавления? Да ты внушаешь ей благоговение! Ты же профессор. А она никогда еще не видела настоящего, почтенного профессора. Она боится сделать в твоем присутствии грамматическую ошибку.

По тропе навстречу им идут трое мужчин, вернее, двое мужчин и юноша. Идут быстро, размашистой походкой сельских жителей. Собаки замедляют шаг, ощетиниваются.

— Не пора ли нам занервничать? — негромко произносит он.

— Не знаю.

Она берет доберманов на короткий поводок. Мужчины приближаются. Кивок, приветствие, и они проходят мимо.

— Кто это? — спрашивает он.

— Никогда их в глаза не видала.

Они доходят до границы фермы, поворачивают назад. Чужаков нигде не видно.

Подходя к дому, они слышат истошный собачий лай. Люси убыстряет шаг.

Вся троица здесь, поджидает их. Двое стоят в сторонке, юнец около клеток шипит на собак, делает резкие, угрожающие движения. Собаки неистово лают, щелкают зубами. Доберманы рвутся с поводка. Даже старая бульдожиха, которую он уже привык считать своей, негромко рычит.

— Петрас! — зовет Люси. Но Петраса нет и в помине. — Отойди от собак! — кричит она. — Hamba!

Юнец неторопливо отходит от клеток и присоединяется к товарищам. У него плоское, невыразительное лицо и поросячьи глазки; он в цветастой рубашке, мешковатых брюках, желтой соломенной шляпчонке. Оба его товарища в рабочих комбинезонах. Тот, что повыше, хорош собою, на редкость хорош — высокий лоб, лепные скулы, широкие, выпуклые ноздри.

При приближении Люси собаки успокаиваются. Она открывает третий вольер и загоняет туда доберманов. Отважный жест, думает он про себя; вот только разумный ли?

Люси обращается к мужчинам:

— Что вам нужно?

Отвечает юнец:

— Нам нужно позвонить.

— Зачем?

— Его сестра… — юнец неопределенно тычет пальцем себе за спину, — ей плохо.

— Плохо?

— Да, очень плохо.

— Что с ней такое?

— Рожает.

— Его сестра рожает?

— Да.

— Откуда вы?

— Из Эразмускрааля.

Он и Люси обмениваются взглядами. Эразмускрааль — это деревушка в лесной глухомани, без электричества и телефона.

— Почему вы из лесничества не позвонили?

— Так там телефона нету.

— Побудь здесь, — вполголоса говорит ему Люси и снова обращается к юнцу: — Кто из вас будет звонить?

Юнец указывает на высокого красавца.

— Пойдемте, — говорит Люси и, отперев заднюю дверь, входит в дом.

Высокий следует за ней. Чуть погодя второй мужчина, обойдя его, тоже скрывается в доме. Что-то не так, мгновенно понимает он.

— Люси, выходи оттуда! — кричит он, на миг

растерявшись, не понимая, что делать — последовать ли за вторым пришельцем или остаться здесь, чтобы не упускать из виду юнца.

Из дома не доносится ни звука.

— Люси! — снова зовет он и почти уже входит в дом, но тут щелкает дверной замок.

— Петрас! — что есть мочи кричит он.

Юнец, развернувшись, несется к передней двери. Он спускает бульдожиху с цепи. „Взять!“ — кричит он. Собака тяжело трусит за юнцом.

Он нагоняет их у входа в дом. Юнец, подхватив с земли жердину, старается не подпустить к себе собаку. „Шу… шу… шу!“ — пыхтит он, делая выпады палкой. Собака, негромко рыча, заходит то слева, то справа.

Бросив их, он устремляется к кухонной двери. Нижняя створка ее закреплена слабо: несколько сильных ударов, и она отворяется. Встав на четвереньки, он забирается в кухню.

На затылок его обрушивается удар. Он еще успевает подумать: „Раз я в сознании, значит, жив“, но тут руки и ноги его обмякают и он валится на пол.

Он осознает, что его волокут по кухне. Затем лишается чувств.

Он лежит лицом на холодных кафельных плит-

ках. Пытается встать, однако ноги почему-то не слушаются его. Он снова закрывает глаза.

Он в уборной, уборной в доме Люси. Пошатываясь, он поднимается на ноги. Дверь заперта, ключ исчез.

Он садится на унитаз, пытается собраться с мыслями. В доме тихо; собаки, правда, лают, но, похоже, больше из чувства долга, чем от злобы.

— Люси! — хрипит он, затем громче: — Люси!

Он пытается вышибить дверь, но силы у него сейчас не те, в уборной тесно, а дверь слишком стара и крепка.

Вот он и настал, день испытаний. Без предупреждения, без фанфар день этот пришел, сразу взяв его в оборот. Сердце в груди колотится так, словно и оно, бессловесное, тоже знает об этом. Как они вынесут испытание, он и его сердце?

Дитя его в руках чужаков. Еще минута, час, и будет слишком поздно, то, что с ней сейчас происходит, станет высеченным в камне, обратится в прошлое. Но сейчас, сейчас еще не поздно. Сейчас он должен хоть что-то сделать.

Он изо всех сил напрягает слух, но из дома не доносится ни звука. И все же если б дочь позвала его, даже немо, он, конечно, услышал бы!

Он колотит по двери.

— Люси! — кричит он. — Люси! Скажи что-нибудь!

Дверь распахивается, почти сбивая его с ног. На пороге второй мужчина, тот, что пониже, — стоит, держа за горлышко пустую литровую бутылку.

— Ключи, — говорит он.

— Нет.

Мужчина толкает его в грудь. Несколько шатких шагов назад, и он почти падает на сиденье унитаза. Мужчина заносит бутылку над головой. Лицо у него спокойное, без признаков раздражения. Человек просто делает свое дело: заставляет ближнего отдать то, что ему нужно. Если при этом приходится бить кого-то бутылкой по голове, он бьет — столько раз, сколько потребуется, — если приходится разбивать бутылку, он разбивает.

— Берите, — говорит он. — Верите все. Только дочь не трогайте.

Мужчина молча берет ключи и снова запирает его.

Он дрожит. Опасная троица. Почему он не понял это вовремя? Но ему они вреда не причинили, пока. Возможно ли, что они удовлетворятся найденным в доме? Возможно ли, что они и Люси не причинят вреда?

Откуда-то из-за дома доносятся голоса. Лай становится громче, взволнованнее. Он забирается на унитаз, смотрит сквозь прутья оконной решетки.

Второй мужчина, с ружьем Люси в одной руке и набитым чем-то мешком для мусора, как раз сворачивает за угол. Хлопает дверца машины. Он узнает звук: это его машина. Мужчина возвращается с пустыми руками. Какой-то миг они глядят прямо в глаза друг другу. „Здорово!“ — произносит мужчина, хмуро ухмыляется и затем выкрикивает несколько непонятных слов. Слышится взрыв смеха. Секунду спустя к мужчине присоединяется юнец, они стоят под окном, разглядывая своего узника, обсуждая его дальнейшую участь.

Он говорит по-итальянски и по-французски, но ни итальянский, ни французский не спасут его здесь, в черном сердце этого Черного континента. Он беспомощен — тетушка Салли, персонаж комикса, миссионер в сутане и тропическом шлеме, с заломленными руками и опущенным долу взглядом, ожидающий, когда дикари, неспешно переговаривающиеся на своей тарабарщине, бросят его в котел с кипящей водой. Труды проповедников — какие следы оставила эта грандиозная попытка духовного просветления? Он

их, во всяком случае, не видит.

Теперь со стороны фасада появляется высокий, в руках у него ружье. С непринужденностью, свидетельствующей о немалом опыте, он вгоняет патрон в казенник и просовывает дуло в собачий вольер. Самая крупная из немецких овчарок, из пасти которой капает яростная слюна, вцепляется в дуло. Гулкий выстрел, кровь и мозги разлетаются по вольеру. На миг лай стихает. Высокий стреляет еще дважды. Одна из собак, с простреленной грудью, умирает мгновенно; другая, с зияющей на шее раной, тяжело оседает и, прижав уши, следит за движениями существа, которое не потрудилось даже нанести ей coup de grace[23].

Повисает тишина. Три оставшиеся собаки, которым некуда спрятаться, отступают в дальний конец вольера и кружат там, поскуливая. Высокий не спеша пристреливает и их.

Шаги в коридоре, дверь уборной снова распахивается. Перед ним второй из налетчиков; на заднем плане виден мальчишка в цветастой рубашке, угощающийся из маленького бочоночка мороженым. Плечом вперед он пытается протис-

---

[23] notes: 23
Последний удар (фр.)

нуться мимо пришельца и тут же валится на пол. Умелая подсечка — верно, научился ей, играя в футбол.

Пока он лежит, распластавшись, на полу, его с головы до ног обливают какой-то жидкостью. Жидкость ест глаза, он пытается стереть ее. Знакомый запах — денатурат. Он хочет приподняться, но его толкают назад, в уборную. Чиркает спичка, холодноватое синее пламя мгновенно охватывает его.

Выходит, он ошибся! Ни ему, ни дочери легко отделаться не удалось! Он может сгореть, умереть, а если он может умереть, то и Люси тоже, Люси прежде всего!

Как безумный, он хлещет себя ладонями по лицу, но уже занимаются, потрескивая, волосы; он бьется о стены уборной с бессмысленным воем, в котором нет слов, один только ужас. Он снова пытается встать, и снова его валят на пол. На миг зрение его проясняется, и в дюйме от своего лица он видит синюю штанину и башмак. Носок башмака загнулся кверху, к подошве пристало несколько травинок.

Пламя бесшумно танцует на руках. С трудом привстав на колени, он окунает руки в унитаз. За спиной его хлопает дверь, поворачивается в

замке ключ.

Согнувшись над унитазом, он плещет воду себе на лицо, обливает голову. Отвратительный запах паленых волос. Он поднимается на ноги, сбивает с одежды последние язычки пламени.

Он промокает лицо комками туалетной бумаги. Глаза жжет, одно веко почти закрылось. Он проводит ладонью по голове, и кончики пальцев чернеют от сажи. Если не считать клока за одним ухом, волос у него, похоже, не осталось, к голове больно прикасаться. Ко всему больно прикасаться, все обгорело. Горело, обгорело.

— Люси! — кричит он. — Ты здесь?

Перед глазами его встает картина: Люси, борющаяся сразу с двумя мужчинами в синих комбинезонах, отбивающаяся от них. Он весь сжимается, стараясь отогнать видение.

Мотор его машины заводится, слышен хруст гравия под колесами. Так это все? Боже мой, неужели они уезжают?

— Люси! — снова и снова зовет он, пока сам не замечает ноты безумия в своем голосе.

Наконец в замке скрежещет, да благословят его небеса, ключ. Когда он открывает дверь, Люси уже успевает повернуться к нему спиной. Она в халате, босая, волосы мокрые. Он тащится за нею

на кухню, где холодильник стоит распахнутым настежь и по всему полу раскиданы продукты. Люси замирает у задней двери, оглядывая последствия учиненной в собачьих загонах бойни. Он слышит ее шепот: „Бедные вы мои, бедные!“

Она открывает первый вольер, входит внутрь. Пес с раной на шее каким-то образом еще ухитряется дышать. Она склоняется над раненым, произносит несколько слов. Пес слабо повиливает хвостом.

— Люси! — вновь окликает он, и Люси впервые обращает на него взгляд. Лицо ее еще пуще мрачнеет.

— Господи, что они с тобой сделали? — произносит она.

— Девочка моя! — говорит он и, войдя в вольер, обнимает ее. Она высвобождается, мягко, но решительно.

В гостиной все вверх дном, в его комнате тоже. Исчезли кое-какие вещи: куртка, туфли, те, что получше, но это, конечно, не все.

Он смотрится в зеркало. Бурый пепел — то, что осталось от его волос, — покрывает макушку и лоб. Под пеплом воспаленно краснеет кожа. Он прикасается к ней: больно, и уже начинает сочиться кровь. Одно веко раздулось, закрыв глаз,

бровей нет, ресниц тоже.

Он направляется к ванной комнате, но дверь ее заперта.

— Не входи, — слышится голос Люси.

— Ты не пострадала? Не ранена?

Дурацкие вопросы; она не отвечает.

Он пытается смыть пепел над кухонной раковиной, выливая на голову один стакан воды за другим. Вода течет по спине, его начинает трясти от холода. Такие вещи случаются каждый день, каждый час, каждую минуту, говорит он себе, в каждом уголке страны. Считай, что тебе повезло, ты остался в живых. Считай, что тебе повезло, ты не сидишь сейчас заложником в собственной несущейся неизвестно куда машине, не лежишь с пулей в голове на дне ущелья. Считай, что повезло и Люси. Люси прежде всего.

Риск обладания: машиной, парой туфель, пачкой сигарет. Всего же не хватает — машин, туфель, сигарет. Людей слишком много, вещей слишком мало. Те, что имеются в наличии, должно пускать по кругу, чтобы у каждого был шанс хоть денек да побыть счастливым. Такова теория — держись за нее и за доставляемое ею утешение. Не зло, коренящееся в человеке, а просто система кругооборота, функционирование которой

не имеет никакого отношения ни к ужасу, ни к жалости. Вот как следует рассматривать жизнь в этой стране, в таком примерно схематическом аспекте. Иначе можно спятить. Машины, туфли, да и женщины тоже. В системе должна быть какая-то ниша для женщин и для того, что с ними случается.

Люси подходит к нему сзади. На ней широкие брюки и дождевик: волосы зачесаны назад, лицо чистое и совершенно пустое. Он заглядывает в ее глаза.

— Милая, милая… — бормочет он и давится внезапно нахлынувшими слезами.

Она не делает ни малейшей попытки успокоить его.

— Голова у тебя выглядит просто жутко, — произносит она. — В ванной, в шкафчике, есть Детский крем. Намажься. Машину твою угнали?

— Да. Думаю, они направились в сторону Порт-Элизабет. Я позвоню в полицию.

— Не получится. Телефон разбит.

Она оставляет его одного. Он сидит на кровати, ждет. Хоть он и завернулся в одеяло, его продолжает трясти. Одно запястье распухло, в нем пульсирует боль. Как он его повредил, он не помнит. Уже темнеет. Кажется, что вся вторая

половина дня пролетела в одно мгновенье.

Люси возвращается.

— У комби проколоты шины, — говорит она. — Пойду к Эттингеру. Это недолго. — И, немного помолчав: — Дэвид, когда тебя будут расспрашивать, говори только о себе, о том, что было с тобой, ладно?

Он не понимает.

— Ты говоришь, что случилось с тобой, я говорю, что случилось со мной, — поясняет она.

— Ты совершаешь ошибку, — произносит он голосом, который быстро вырождается в хрип.

— Нет, не совершаю, — отвечает она.

— Девочка, моя девочка! — говорит он, протягивая к ней руки.

Она не делает ни шага навстречу, и потому он отбрасывает одеяло, встает и обнимает ее. В его объятиях она остается застылой, деревянной, как столб, неподатливой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Эттингер оказывается хмурым стариком, говорящим по-английски с нарочитым немецким акцентом. Жена его умерла, дети вернулись в Германию, только он один и остался в Африке. Старик и сидящая с ним рядом Люси приезжают в маленьком пикапе и ждут, не выключая двигателя.

— Да-а, я без „беретты“ никуда ни шагу, — сообщает Эттингер, когда они выезжают на Грейамстаунское шоссе, и похлопывает по висящей на бедре кобуре. — Самое милое дело — охраняй себя сам, потому что полиция тебя охранять не намерена, это уж будьте уверены, только не в наши дни.

Эттингер прав? Имейся у него пистолет, он мог бы спасти Люси? Сомнительно. Имейся у него пистолет, он, скорее всего, был бы сейчас мертв, и он, и Люси.

Руки у него, замечает он, чуть дрожат. Люси скрестила свои на груди. Это потому, что и они дрожат тоже?

Он полагал, что Эттингер свезет их в поли-

цейский участок. Выясняется, однако, что Люси попросила его ехать в больницу.

— Ради меня или ради тебя? — спрашивает он у дочери.

— Ради тебя.

— Разве полиция не захочет поговорить и со мной?

— Нет ничего такого, что сможешь рассказать ты и не смогу я, — отвечает она. — Или есть?

В больнице она направляется прямиком к двери с табличкой „Несчастные случаи“, заполняет от его имени формуляр и отводит его в приемную. Она — сама сила, сама целеустремленность, между тем как у него дрожь, похоже, расползается по всему телу.

— Если тебя отпустят домой, подожди здесь, — распоряжается она. — Я за тобой вернусь.

— А как же ты?

Она пожимает плечами. Если она и дрожит, то ничем этого не выдает.

Он усаживается между двумя дюжими девушками, скорее всего сестрами (одна из них держит на руках стонущего ребенка), и мужчиной с пропитанной кровью повязкой на руке. В очереди он двенадцатый. Часы на стене показывают 5:45. Он закрывает уцелевший глаз и проваливается

в обморочное забытье, в котором сестры так и продолжают шептаться, chuchoter[24]. Когда он открывает глаз, часы по-прежнему показывают 5:45. Сломались, что ли? Нет: минутная стрелка, дернувшись, замирает на 5:46.

Проходит два часа, прежде чем медицинская сестра выкликает его имя, и приходится еще ждать, пока не наступает его черед увидеть единственного здесь дежурного врача, молодую индианку.

— Ожоги на голове, — говорит она, — несерьезные, нужно лишь остерегаться инфекции.

Глаз отнимает у нее гораздо больше времени. Верхнее и нижнее веки слиплись, разделение их оказывается на редкость болезненным.

— Вам повезло, — говорит она, закончив осмотр. — Глаз не поврежден. Облей они вас бензином, совсем другая была бы история.

Он выходит от нее с забинтованной головой, с закрытым повязкой глазом, с примотанным к запястью пузырем со льдом. В приемной он с удивлением обнаруживает Билла Шоу. Билл, который на голову ниже его, обнимает его за плечи.

---

[24] notes: 24
Шушукаться *(фр.)*

— Ужасно, просто ужасно, — говорит он. — Люси останется у нас. Она хотела сама забрать вас отсюда, но Бев и слышать об этом не пожелала. Ну, как вы?

— Более-менее. Легкие ожоги, ничего серьезного. Простите, что мы испортили вам вечер.

— Глупости! — говорит Билл. — Для чего же еще существуют друзья? Вы бы сделали то же самое.

Произнесенные без тени иронии, слова эти застревают в его сознании, не желая никуда уходить. Билл Шоу верит, что если его, Билла Шоу, стукнут по голове, а потом подожгут, то он, Дэвид Лури, приедет в больницу и будет сидеть, не имея даже газеты в руках, дожидаясь, когда Билла можно будет отвезти домой. Билл Шоу верит в это, потому что он и Дэвид Лури как-то раз выпили вместе по чашке чаю и, стало быть, связаны теперь взаимными обязательствами. Прав ли Билл Шоу или ошибается? Неужели Билл, родившийся в Ханки, километрах в двухстах отсюда, и работающий в скобяной лавке, видел в жизни так мало, что даже не ведает о существовании людей, которые не питают особой охоты обзаводиться друзьями, людей, чье отношение к мужской дружбе разъедено скептицизмом? Современное английское „friend“, „друг“, происходит от старо-

английского „freond“, а то — от „freon“, „любить“. Выходит, совместное чаепитие связует, согласно воззрениям Билла Шоу, людей узами любви? Да, но не будь Бев и Билла Шоу, не будь Эттингера, не будь определенного рода уз, где бы он сейчас находился? На разграбленной ферме со сломанным телефоном, среди мертвых собак.

— Ужасная история, — повторяет Билл Шоу, когда они садятся в машину. — Отвратительная. Читаешь о таком в газете — оторопь берет, но когда оно случается с кем-то, кого ты знаешь, — Билл покачивает головой, — вот тогда до тебя доходит по-настоящему. Как будто вокруг снова идет война.

Он не дает себе труда ответить. День еще не умер, еще живет. „Война“, „отвратительная“ — каждое слово, которым ты пытаешься подвести черту под этим днем, исчезает в его черном зеве.

Бев Шоу встречает их в дверях.

— Люси приняла успокоительное, — объявляет она, — и легла; ее лучше не трогать.

— Она была в полиции?

— Да, ваша машина объявлена в розыск.

— А с врачом она виделась?

— Все сделано. Вы-то как? Люси сказала, вы сильно обгорели.

— Обгорел, но не так сильно, как кажется.

— Тогда вам надо поесть и отдохнуть.

— Я не голоден.

Бев наполняет для него большую старомодную чугунную ванну. Он вытягивается в парящей воде во всю свою белокожую длину и пытается расслабиться. Однако когда приходит время вылезать из ванны, он оскальзывается и чуть не падает: слаб, как ребенок, да еще и голова кружится. Приходится звать Билла Шоу и, ежась от унижения, принимать помощь, без которой он не смог бы ни выбраться из ванны, ни вытереться, ни влезть в одолженную ему пижаму. Чуть позже он слышит приглушенные голоса Бев и Билла и понимает, что разговор идет о нем.

В больнице его снабдили стеклянным тюбиком с болеутоляющим, пакетом перевязочного материала и приспособлением из алюминия, этакой подпоркой для головы. Бев Шоу постелила ему на пахнущем кошками диване; засыпает он с удивительной быстротой. Среди ночи он просыпается с совершенно ясной головой. Ему явилось видение: Люси звала его, эхо произнесенных ею слов — „Сюда, сюда, спаси меня!“ — все еще отдается в ушах. В видении она — с протянутыми к нему руками и зачесанными назад мокрыми волосами

— стояла в поле белого света.

Он вскакивает, напарывается на стул, тот падает. Вспыхивает свет, перед ним — Бев Шоу, в ночной сорочке. „Я должен поговорить с Люси“, — с трудом произносит он. Во рту пересохло, язык распух.

Дверь, ведущая в комнату Люси, открывается. Она совсем не такая, как в видении. Лицо припухло со сна, она подтягивает пояс халата, явно с чужого плеча.

— Прости, мне приснился сон, — говорит он. Слово „видение“ становится вдруг слишком архаичным, слишком фальшивым. — Как будто ты меня позвала.

Люси качает головой.

— Я не звала. Ложись.

Она права, конечно. Три часа утра. Но он поневоле замечает, что во второй раз на дню дочь говорит с ним как с ребенком — ребенком или стариком.

Он пытается заснуть, но не может. Скорее всего, дело в таблетках, решает он: не видение, даже не сон, а так, химическая галлюцинация. И все же женщина в поле света по-прежнему стоит перед его глазами. „Спаси меня!“ — кричит дочь, слова ее ясны, звучны, настоятельны. Быть может, душа

Люси и вправду приходила к нему, покинув ее тело? Могут ли люди, не верящие в существование душ, все-таки обладать ими, и могут ли души их вести свою, независимую жизнь?

До восхода еще несколько часов. Запястье ноет, глаза жжет, кожа на голове воспалена, болезненно чувствительна. Он тихо включает настольную лампу, встает. Завернувшись в одеяло, толкает дверь Люси и входит. Рядом с кроватью стоит кресло, он садится. Чувства говорят ему, что Люси не спит.

Что он тут делает? Охраняет свою девочку, оберегает ее от беды, отгоняет злых духов. Спустя какое-то время он ощущает, как она расслабляется. Нежный пузырек лопается на ее губах, она еле слышно похрапывает.

Утро. Бев Шоу подает ему завтрак, состоящий из кукурузных хлопьев и чая, и скрывается в комнате Люси.

— Как она? — спрашивает он, когда Бев возвращается.

В ответ Бев лишь слегка качает головой. Не ваше это дело, видно, хочет сказать она. Менструации, роды, изнасилование и то, что за ним, все, замешенное на крови, суть бремя женщины, ее сокровенная тайна.

Уже не в первый раз он задается вопросом: не счастливее были бы женщины, живи они в женских общинах и принимая мужчин только по собственному выбору. Возможно, он ошибается, считая Люси лесбиянкой. Возможно, она просто предпочитает общество женщин. А возможно, в этом и состоит определение лесбиянки: женщина, которой не требуются мужчины.

Неудивительно, что они — Люси и Хелен — относятся к изнасилованию с таким ярым отвращением. Изнасилование, бог хаоса и смешения, осквернитель уединения. Изнасилование же лесбиянки хуже изнасилования девственницы — удар получается куда более чувствительным. Знали ли они, эти трое, с кем имеют дело? Ходили ль уже вокруг разговоры?

В девять, после того как Билл Шоу уходит на работу, он стучится в дверь Люси. Дочь лежит, повернувшись лицом к стене. Он садится с ней рядом, прикасается к ее щеке. Щека мокра от слез.

— Нелегко говорить о таких вещах, — произносит он, — но повидалась ли ты с врачом?

Люси садится, сморкается.

— Я была вчера вечером у терапевта.

— И он позаботился обо всех возможных последствиях?

— Она, — говорит Люси, — она, а не он. Нет, — в ее голосе вдруг проступает гнев, — да и как бы ей это удалось? Как может врач позаботиться обо всех последствиях? Ты все-таки думай, что говоришь!

Он встает. Если ей угодно злиться, то и он это тоже умеет.

— Прости, что спросил, — говорит он. — Какие у нас планы на сегодня?

— Планы? Вернуться на ферму и навести там порядок.

— А потом?

— А потом жить по-прежнему.

— На ферме?

— Разумеется. На ферме.

— Люси, будь благоразумна. Все изменилось. Мы не можем просто начать с того места, на котором нас остановили.

— Это почему же?

— Потому что это нелепая идея. И потому, что там небезопасно.

— Безопасно там никогда не было. И это не идея, нелепая или умная. Я возвращаюсь туда не ради идеи. Просто возвращаюсь.

Сидя на кровати в чужой ночной рубашке, она бросает ему вызов — шея выпрямлена, глаза бле-

стят. Уже не папина девочка, уже больше нет.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прежде чем уехать, приходится переменить повязки. В тесной маленькой ванной Бев Шоу разматывает бинты. Веко по-прежнему закрывает глаз, на голове вздулись волдыри, но в общем и целом могло быть и хуже. Самое болезненное место — это кромка правого уха, единственное, как сказала молоденькая докторша, что обгорело по-настоящему.

Бев стерильным раствором обмывает вылезшую наружу розовую подкожную ткань, затем с помощью пинцета накладывает поверх нее желтоватую маслянистую повязку. Мягкими касаниями смазывает складки века и ухо. Работает она молча. Он вспоминает клинику, козла и гадает, ощущал ли тот, отдаваясь в ее руки, такой же мир и покой.

— Ну вот, — наконец произносит она, выпрямляясь.

Он разглядывает себя в зеркале — аккуратная белая шапочка, закрытый бинтом глаз.

— Полный порядок, — говорит он, но думает при этом: „Вылитая мумия“.

Он еще раз пытается поговорить об изнасиловании.

— Люси сказала, что побывала вчера вечером у терапевта.

— Да.

— Существует риск беременности, — торопливо продолжает он. — Риск венерического заболевания. Риск СПИДа. Разве ей не стоит повидаться и с гинекологом?

Бев неуклюже пытается уклониться от разговора.

— Это вы у самой Люси спросите.

— Я спрашивал. Но не добился никакого толка.

— Спросите еще раз.

Уже двенадцатый час, а Люси все еще не вышла. Он бесцельно слоняется по саду. Настроение у него сумрачное. Дело не только в том, что он не знает, чем себя занять. Вчерашние события глубоко потрясли его. Дрожь, слабость — это лишь первые, поверхностные признаки потрясения. У него такое чувство, что зашиблен, подбит какой-то его внутренний, жизненно важный орган — может быть, сердце. Впервые ощущает он вкус того, на что это похоже — быть стариком, человеком, усталым до мозга костей, без надежд, без желаний, равнодушным к будущему. Сгорбясь на

пластмассовом стуле, торчащем среди зловонных куриных перьев и гниющих яблок, он ощущает, как интерес к миру капля за каплей истекает из него. Пройдут, возможно, недели, возможно, месяцы, прежде чем интерес этот иссякнет, пока же капли сочатся не переставая, и когда все кончится, он станет похожим на застрявшую в паутине мушиную оболочку, ломкую, легкую, как рисовая шелуха, дунь — и ее нет. Ждать помощи от Люси не приходится. Терпеливо, безмолвно Люси должна сама отыскивать для себя дорогу из тьмы к свету. Пока же она не придет в себя, ответственность за их повседневную жизнь лежит на нем. Но все произошло слишком быстро. К этой ноше он не готов: ферма, огород, псарня. Будущее Люси, его будущее, будущее страны — все это ерунда, хочется сказать ему; пусть катятся к чертям собачьим, мне наплевать. Что до нагрянувших к ним мужчин, то он желает им всяческих бед, а больше и думать о них не хочет.

Это просто последствия, последствия нападения, говорит он себе. Со временем организм справится с ними, и я, призрак, поселившийся в нем, снова стану тем, кем был. Но правда выглядит совершенно иначе, и он это знает. Наслаждение, которое доставляла ему жизнь,

уничтожено. Подобно листку в потоке, подобно грибу-дождевику на ветру, он поплыл, покатил к своему концу. Он видит это более чем отчетливо, и видение наполняет его (слово не желает никуда уходить) отчаянием. Кровь жизни источается из тела, и место ее занимает отчаяние, подобное газу — без запаха, без вкуса, без способности хоть чем-то его напитать. Ты вдыхаешь этот газ, члены твои расслабляются, и тебя уже ничто не заботит, даже в миг, когда горла твоего касается сталь.

Звонок в дверь: двое молодых полицейских в чистеньких новых мундирах, пришедших, чтобы начать расследование. Люси выходит из своей комнаты, вид у нее измученный, на ней та же одежда, что вчера. От завтрака она отказывается. Бев в своем фургончике отвозит его и Люси на ферму, полицейские едут следом.

Тела собак так и валяются по вольерам. Бульдожиха Кэти не сбежала, в какой-то момент они видят ее крадущейся вдоль конюшен, но к ним она не подходит. Петраса по-прежнему нет и в помине.

Войдя в дом, полицейские снимают фуражки, суют их под мышки. Он не принимает участия в разговоре, предоставляя Люси рассказать полицейским то, что она считает нужным рассказать.

Полицейские уважительно слушают, один из них записывает каждое слово, *ручка,* нервно рыскает по страницам записной книжки. Они принадлежат к ее поколению и все же держатся от нее на расстоянии, как от существа осквернённого, способного и их запятнать своей скверной.

Их было трое, рассказывает Люси, двое мужчин и юноша. Они обманом проникли в дом, забрали (следует перечисление) деньги, одежду, телевизор, проигрыватель для компакт-дисков, ружье с патронами. Когда отец попробовал им воспротивиться, его избили, облили денатуратом и попытались сжечь. Потом перестреляли собак и уехали в его машине. Она описывает мужчин, их костюмы, описывает машину.

Говоря, Люси глядит ему прямо в лицо, словно бы черпая в нем силы или предлагая опровергнуть сказанное. Когда один из полицейских спрашивает: „Как долго длился весь инцидент?“, Люси отвечает: „Минут двадцать-тридцать“. Неправда, — и он, и она это знают. Гораздо дольше. На сколько? На столько, сколько потребовалось мужчинам, чтобы управиться с хозяйкой дома.

Тем не менее он не вмешивается. „Все ерунда“: он едва прислушивается к рассказу Люси. Слова, с прошлой ночи маячившие на границе

памяти, начинают обретать законченную форму. „Двух старушек замкнули в сортире, / Они просидели там дня четыре, / Забыли про них нехорошие люди“. Сидел замкнутым в сортире, пока пользовались его дочерью. Песенка из детства вернулась, чтобы глумливо ткнуть в него пальцем. „Господи боже, что теперь будет?“ Будет тайна Люси и его бесчестье.

Полицейские осторожно обходят дом, осматриваются. Ни крови, ни перевернутой мебели. На кухне прибрано (Люси? Когда?). За дверью уборной — две обгорелые спички, которых они даже не замечают.

С двуспальной кровати в комнате Люси снято все белье. „Место преступления“, — думает он; и, словно прочитав эту мысль, полицейские выходят, стараясь не встречаться с ним взглядами.

Тихий дом зимним утром, ни больше ни меньше.

— К вам заглянет, чтобы снять отпечатки пальцев, детектив, — говорят они на прощанье. — Постарайтесь ничего не трогать. Если вспомните, что еще у вас взяли, позвоните нам в участок.

Едва они отъезжают, появляется монтер-телефонист, а следом за ним старик Эттингер. По

поводу отсутствия Петраса он туманно замечает: „Ни одному из них нельзя верить“. Говорит, что пришлет малого, чтобы тот привел комби в порядок.

В прошлом он видел, как при слове „малый“ Люси вспыхивала от гнева. Сегодня — никакой реакции.

Он провожает Эттингера до двери.

— Бедная Люси, — говорит Эттингер. — Ей, надо думать, здорово досталось. Хотя могло быть и хуже.

— Да? Это как же?

— Так они ведь могли забрать ее с собой.

Это замечание заставляет его остановиться. Эттингер не дурак.

Наконец он остается наедине с Люси.

— Я похороню собак, если ты покажешь мне где, — говорит он. — Что ты скажешь их владельцам?

— Правду.

— Твоей страховки хватит, чтобы покрыть убытки?

— Не знаю. Не уверена, что страховка предусматривает массовую бойню. Это мне еще предстоит выяснить.

Пауза.

— Почему ты не рассказала им всего, Люси?

— Я рассказала им все. Все — это то, что я им рассказала.

Он с сомнением качает головой.

— Я понимаю, у тебя свои причины, однако уверена ли ты, говоря в более широком плане, что это лучшая линия поведения?

Люси не отвечает, а он не считает пока возможным давить на нее. Но мысли его все обращаются к троице налетчиков, к троице налетчиков, к людям, которых он, вероятно, больше никогда не увидит, но которые стали отныне частью его жизни и жизни дочери. Эти люди будут следить за газетами, прислушиваться к разговорам. И прочитают, что их разыскивают за ограбление и вооруженное нападение — и только. Тут до них дойдет, что тело той женщины укрыто, как одеялом, молчанием. „Стыдно стало, — скажут они друг другу, — вот и помалкивает“, — и будут смачно гоготать, вспоминая свои подвиги. Готова ли Люси порадовать их подобной победой?

Он выкапывает яму на месте, показанном ему Люси, у границы ее владений. Могила для шести взрослых собак: даже при том, что землю недавно перепахали, работа отнимает почти час, и когда он заканчивает, у него ноет спина, ноют руки,

снова принимается болеть запястье. Он везет трупы в тачке. Собака с раной на шее так и скалит окровавленные зубы. Все равно что по рыбам в бочонке стрелять, думает он. Гадостное, но, вероятно, бодрящее занятие, особенно в стране, где ухитрились вывести породу собак, которые начинают рычать, едва учуяв запах чернокожего человека. Приятная послеполуденная работенка, поднимающая, как всякая месть, настроение. Одну за одной он сваливает собак в яму и засыпает землей.

Вернувшись, он обнаруживает Люси ставящей раскладушку в затхлой маленькой кладовке, где у нее хранятся припасы.

— Для кого это? — спрашивает он.

— Для меня.

— А почему не в комнате для гостей?

— Там потолок течет.

— А большая задняя комната?

— Слишком много шума от морозильника.

Неправда. Морозильник в задней комнате разве что мурлычет. Это содержимое его не позволяет Люси спать рядом с ним: требуха, кости, мясо для собак, которым оно уже не понадобится.

— Перебирайся в мою комнату, — говорит он. — А я расположусь здесь.

И сразу уходит, чтобы перенести свои вещи.

Но так ли уж хочется ему селиться в этой каморке с составленными в углу ящиками, полными пустых банок для варенья, с единственным крошечным, глядящим на юг окошком? Если призраки насильников Люси все еще мешкают в ее спальне, их следует выкурить оттуда, а не позволять им обратить эту комнату в свое святилище. И он относит вещи в спальню Люси.

Наступает вечер. Голода они не чувствуют, но ужинать садятся. Ужин — это обряд, а обряды облегчают жизнь.

Как можно мягче он вновь задает все тот же вопрос:

— Люси, голубка, почему ты не хочешь рассказать все? Ведь это преступление. А стать жертвой преступления — тут нет ничего постыдного. Ты же не по собственному выбору ею становишься. Ты — пострадавшая сторона.

Люси, сидящая напротив него за столом, делает, собираясь с силами, глубокий вдох, но затем выпускает воздух из груди и молча трясет головой.

— Можно я попробую догадаться? — спрашивает он. — Ты стараешься напомнить мне о чем-то?

— Стараюсь напомнить тебе о чем?

— О том, что приходится сносить женщинам в

руках мужчин.

— Вот уж о чем я вовсе не думала. К тебе это не имеет никакого отношения, Дэвид. Ты хочешь знать, почему я не выдвинула определенного обвинения? Я скажу тебе, при условии, что ты пообещаешь больше этой темы не касаться. Причина в том, что происшедшее, насколько оно касается меня, это целиком и полностью мое личное дело. В другое время, в другом месте его можно было бы считать затрагивающим интересы общества. Но не в этом месте и не в это время. Это дело мое и только мое.

— О каком, собственно, месте ты говоришь?

— О месте, которое называется Южной Африкой.

— Не согласен. Совершенно с тобой не согласен. Ты полагаешь, что, смиренно приняв случившееся, создашь дистанцию между собой и фермерами вроде Эттингера? Полагаешь, что происшедшее здесь было экзаменом: ты выдерживаешь его и получаешь диплом, пропуск в будущее, знак на перекладине двери, который заставит пройти мимо язву губительную? Месть устроена совсем иначе, Люси. Месть — как пожар. Чем больше он пожирает, тем голоднее становится.

— Прекрати, Дэвид! Я не желаю слушать бол-

товню о пожарах и язвах. Я не пытаюсь просто-напросто спасти свою шкуру. Если ты думаешь так, значит, ты ничего не понял.

— А ты помоги мне. Ты хочешь вывести некую формулу личного спасения? Надеешься искупить преступления прошлого, страдая в настоящем?

— Нет. Ты все еще заблуждаешься на мой счет. Вина, спасение — все это абстракции. Я же руководствуюсь совсем не абстракциями. И пока ты хотя бы не попытаешься понять это, я ничем тебе помочь не смогу.

Он хочет возразить, но Люси обрывает его:

— Дэвид, мы договорились. Я не желаю продолжать этот разговор.

Никогда еще не были они так далеки друг от друга, так ожесточены. Его охватывает ужас.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Новый день. Звонит Эттингер, предлагает ссудить им ружье, „на это время“.

— Спасибо, — отвечает он. — Мы подумаем.

Он берет инструменты Люси и приводит, насколько это ему по силам, в порядок кухонную дверь. Надо бы поставить решетки, обнести ферму забором с крепкими воротами — по примеру Эттингера. Обратить ферму в крепость. Люси же следует купить пистолет, рацию и научиться стрелять. Но неужели она так и будет теперь все время молчать? Она здесь, потому что любит эту землю и старый, landliche[25] уклад жизни. И если этот уклад обречен, что останется ей любить?

Кэти удается выманить из укрытия и поселить на кухне. Бульдожиха тиха, боязлива и ходит хвостом за Люси, стараясь держаться поближе к ее ногам. Жизнь с каждым мигом меняется, лишается сходства с прежней. Дом кажется чужим, осквернённым; они постоянно настороже, постоянно прислушиваются.

Наконец возвращается Петрас. Старенький гру-

---

[25] notes: 25
Деревенский *(нем.)*.

зовик, стеная, одолевает ухабистую подъездную дорогу и останавливается у конюшен. Петрас в тесноватом ему костюме выбирается из кабины, за ним следуют жена и водитель. Мужчины выгружают из кузова картонные коробки, пропитанные креозотом столбы, листы оцинкованного железа, связку пластиковых труб и под конец, с немалым шумом и гамом, двух молодых овец, которых Петрас привязывает к столбу забора. Грузовик, объезжая конюшни, разворачивается по широкой дуге и с лязгом исчезает. Петрас с женой скрываются в конюшне. Над асбестовой трубой очага вырастает дымок.

Он не покидает наблюдательного поста. Немного погодя выходит жена Петраса и широким, привольным движением опорожняет помойное ведро. Статная женщина, думает он, длинная юбка, головной платок на высоко, как оно принято в деревне, уложенных волосах. Статная женщина, везучий мужчина. Да, но где же они были?

— Петрас вернулся, — говорит он Люси. — С кучей строительных материалов.

— Хорошо.

— Почему он не сказал, что уезжает? Тебе не кажется странным, что он исчез именно в тот день?

— Я не могу распоряжаться Петрасом. Он сам себе хозяин.

Не очень логично, но не будем спорить. Он решил вообще не спорить с Люси до поры до времени.

Люси ничем не занимается, не выражает никаких чувств, не выказывает интереса ни к чему из окружающего. Это ему, ровно ничего не смыслящему в фермерском хозяйстве, приходится выпускать из загончика уток, управляться с системой полива, поить огород, чтобы тот не иссох. Люси час за часом проводит лежа на кровати, глядя в пространство или просматривая старые журналы, запас которых у нее, похоже, неисчерпаем. Она нетерпеливо листает их, словно отыскивая нечто, чего в них нет. „Эдвина Друда“ больше не видно.

С запруды он замечает облаченного в рабочий комбинезон Петраса. Странно все-таки, что тот так и не зашел поздороваться с Люси. Он подходит, обменивается с Петрасом приветствиями.

— Вы, наверное, слышали, нас ограбили в среду, пока вас не было.

— Да, — говорит Петрас. — Слышал. Это очень плохо, очень плохое дело. Но теперь у вас все в порядке.

У него все в порядке? И у Люси все в порядке? Петрас что — задал вопрос? Не похоже, однако воспринять сказанное как-то иначе он из соображений приличия не может. Вопрос задан, каков ответ?

— Я жив, — говорит он. — Пока человек жив, у него, я полагаю, все в порядке. Так что да, у меня все в порядке.

Он замолкает, выдерживает паузу, ждет, пока разрастется молчание — молчание, которое Петрас вынужден будет заполнить следующим вопросом: „А как Люси?“

Но он ошибается.

— Люси собирается завтра на рынок? — спрашивает Петрас.

— Не знаю.

— Потому что, если ее там не будет, она потеряет место, — говорит Петрас. — Может быть.

— Петрас хочет знать, собираешься ли ты завтра на рынок, — уведомляет он Люси. — Опасается, что тебя могут лишить места.

— Почему бы вам не поехать вдвоем? — говорит она. — Мне это пока не под силу.

— Ты уверена? Жаль было бы потерять неделю.

Люси не отвечает. Ей не хочется показываться на люди, и он знает почему. Из-за бесчестья. От

стыда. Вот чего добились ее визитеры, вот что они сделали с этой уверенной в себе, современной молодой женщиной. Рассказ о содеянном ими расползается по здешним местам, как грязное пятно. Не ее рассказ — их, хозяев положения. Рассказ о том, как они поставили ее на место, как показали ей, для чего существует женщина.

С одним зрячим глазом и перевязанной головой ему и самому неловко появляться на люди. Но ради дочери он отправляется на рынок, сидит там рядом с Петрасом, терпеливо снося любопытные взгляды, вежливо отвечая тем из знакомых Люси, которые считают необходимым выразить соболезнование. „Да, машины мы лишились, — говорит он. — И собак, разумеется, — всех, кроме одной. Нет-нет, с дочерью все хорошо, ей просто неможется сегодня. Нет, особых надежд мы не питаем, у полиции дел выше головы, вы же знаете. Да, передам непременно“.

Он прочитывает сообщение о них, напечатанное в „Геральд“. „Неизвестные налетчики“ — так названы там эти трое. „Трое неизвестных налетчиков напали на мисс Люси Лури и ее пожилого отца на принадлежащей им небольшой ферме в окрестностях Сейлема, после чего скрылись, прихватив одежду, электронику и огнестрельное

оружие. Кроме того, перед тем как уехать на „той-оте-королла“ 1993 года, номерной знак CA 507644, они по какой-то странной причуде застрелили шесть сторожевых собак. Мистеру Лури, получившему во время нападения легкие ожоги, была оказана помощь в больнице колонистов, после чего его отпустили домой“.

Он доволен, что в сообщении не отмечена связь между мистером Лури, пожилым отцом, и Дэвидом Лури, специалистом по певцу природы Уильяму Вордсворту, состоявшим до недавнего времени в профессорах Технического университета Кейпа. Что до самой торговли, участвовать в ней ему почти не приходится. Это Петрас быстро и умело раскладывает товар, Петрас называет цены, получает деньги и возвращает сдачу. Собственно говоря, только Петрас и работает, он же просто сидит и пытается согреть руки. Совсем как в былые времена: baas en Klaas[26]. Разве вот никто не ждет, что он станет отдавать Петрасу приказы. Петрас делает то, что следует сделать, только и всего.

Тем не менее выручают они немного, меньше трехсот рандов. Причина тому — отсутствие Лю-

---

[26] notes: 26
Хозяин и работник *(голл.)*

си, тут нечего и сомневаться. Приходится грузить обратно в комби коробки с цветами, мешки с овощами. Петрас покачивает головой. „Нехорошо“, — говорит он.

И однако же Петрас так до сих пор и не объяснил свое отсутствие. Разумеется, Петрас обладает полным правом на свободу передвижения и этим правом воспользовался; не меньшее право имеет он и на то, чтобы хранить молчание. Но вопросы-то остаются. Знает ли Петрас тех троих? Не он ли обронил где-то словечко, из-за которого они выбрали в качестве объекта нападения Люси, а, скажем, не Эттингера? Знал ли Петрас наперед, что они замышляют?

В прежние времена можно было бы поговорить с Петрасом начистоту. А поговорив, выйти из себя, прогнать его и нанять взамен кого-то другого. Но Петрас, хоть он и получает жалованье, уже не является, строго говоря, наемным работником. Трудно сказать, кем, строго говоря, является Петрас. Пожалуй, лучше всего подходит слово „сосед“. Петрас — сосед, который до поры до времени продает свой труд, потому что ему так удобнее. Продает в силу договора, неписаного договора, в котором ничего не сказано насчет увольнения по подозрению. Они живут теперь в новом мире

— он, Люси и Петрас. И Петрас знает это, и он это знает, и Петрас знает, что он это знает.

И при всем том ему легко с Петрасом, более того, он готов, пусть и с оговорками, проникнуться симпатией к нему. Петрас — человек его поколения. Несомненно, Петрасу довелось многое пережить, несомненно, ему есть что порассказать. Он был бы не прочь как-нибудь послушать рассказы Петраса. Но предпочтительно не по-английски. Он все больше и больше убеждается, что в Южной Африке по-английски всей правды не передашь. Периоды английской речи, с ее давным-давно окостеневшими предложениями, лишились былой членораздельности, сочленённости, вычленённости. Язык закоченел, точно испустивший дух и затонувший в грязи динозавр. Пройдя через горнило английского языка, рассказ Петраса вышел бы наружу подагрическим старцем.

Что ему нравится в Петрасе, так это лицо, лицо и руки. Если есть на свете такая штука, как добросовестный труд, то внешность Петраса несет его следы. Терпеливый, предприимчивый, крепко стоящий на ногах человек. Пейзанин, paysan[27],

[27] notes: 27
Крестьянин *(фр.)*.

человек этой страны. Интриган, плут и, разумеется, лгун, как все пейзане. Честный труд, честное плутовство. У него имеются кое-какие подозрения относительно того, на что в конечном счете нацелился Петрас. Петрас не удовлетворится тем, что станет вечно перепахивать свои полтора гектара. Люси, может быть, и протянула здесь дольше, чем ее друзья, — что с них взять? хиппи, перекати-поле, — однако для Петраса Люси так и остается пустым человеком, дилетанткой, скорее энтузиасткой фермерской жизни, чем настоящим фермером. Петрас с удовольствием завладел бы землей Люси. А там и землей Эттингера или хотя бы частью ее, достаточной для выпаса скота. Сладить с Эттингером ему будет потруднее. Люси человек случайный, а Эттингер — такой же пейзанин, человек от земли, цепкий, eingewurzelt[28]. Однако Эттингер рано или поздно умрет, а сын Эттингера уехал. Вот тут Эттингер сглупил. У хорошего пейзанина сыновей должно быть побольше.

В будущем, каким его видит Петрас, нет места для людей вроде Люси. Но это необязательно обращает Петраса во врага. Сельская жизнь всегда

---

[28] notes: 28
Укоренившийся *(нем.)*.

отличалась тем, что сосед злоумышлял против соседа, желая ему нашествия вредителей, плохих урожаев, разорения и однако же сохраняя готовность помочь, когда тому станет совсем уж невмоготу.

Худшее, самое мрачное истолкование случившегося, пожалуй, в том, что Петрас подрядил троих чужаков, чтобы те преподали Люси урок, и расплатился с ними награбленным. Но он в это не верит, уж слишком получается просто. Настоящая правда, подозревает он, куда более — он не сразу находит слово — *антропологинна,* чтобы докопаться до нее, потребуются месяцы терпеливых, неспешных разговоров с десятками людей, да еще и помощь переводчика.

С другой стороны, он уверен, Петрас знал: что-то готовится — и мог предупредить Люси. Потому-то ему и не удается избавиться от мыслей о Петрасе, махнуть на него рукой.

Петрас спустил из бетонного пруда воду и теперь очищает его от водорослей. Работа малоприятная. Тем не менее он предлагает свою помощь. Втиснув ноги в резиновые сапоги Люси, он спускается в пруд, осторожно ступая по скользкому дну. Некоторое время они усердно трудятся, соскребая, соскабливая грязь с бетона

и лопатами выкидывая ее наружу. Затем он прерывает работу.

— Знаете, Петрас, — говорит он, — мне трудно поверить, что пришедшие к нам люди были чужаками. Трудно поверить, что они свалились с неба, сделали свое дело, а после исчезли, как призраки. И трудно поверить, что причина, по которой они выбрали нас, состояла лишь в том, что мы оказались первыми белыми, повстречавшимися им в тот день. Как по-вашему? Я не прав?

Петрас курит трубку, старомодную трубку с изогнутым чубуком и серебряным колпачком на чашечке. Теперь он выпрямляется, достает ее из кармана, откидывает колпачок, набивает чашечку табаком, посасывает незажженную трубку. Задумчиво смотрит поверх стены пруда, поверх холмов, поверх всей этой местности. Лицо его абсолютно безмятежно.

— Их должна поймать полиция, — говорит он. — Полиция должна их поймать и посадить в тюрьму. Такая у нее работа.

— Да, но без помощи со стороны полиция их не отыщет. Эти люди хорошо знали лесничество. Я убежден, что и о Люси они кое-что знали. Спрашивается: откуда, если они чужие в этих краях?

Петрас, пропустив вопрос мимо ушей, сует

трубку в карман, откладывает лопату и берется за метлу.

— Это же был не просто грабеж, Петрас, — настаивает он. — Те трое заявились к нам не ради одного грабежа. И не ради того, чтобы сделать со мной вот это, — он прикасается к бинтам, к повязке на глазу. — Они пришли, чтобы сделать еще кое-что. Вы знаете, о чем я говорю, а если не знаете, то уж, верно, способны догадаться. После учиненного ими нельзя ожидать, что Люси будет спокойно жить прежней жизнью. Я отец Люси. Я хочу, чтобы этих людей поймали, судили и наказали. Разве я не прав? Не прав, желая правосудия?

Ему уже все равно теперь, каким способом удастся вытрясти из Петраса хоть несколько слов, он просто хочет услышать их.

— Да нет, вы правы.

Гнев внезапно охватывает его, настолько сильный, что даже берет его врасплох. Он хватает лопату и, ударами сдирая со дна целые комья травы и грязи, через плечо мечет их за стенку пруда. „Ты сам себя взвинчиваешь, — предостерегает он себя. — Прекрати!“ И все же в этот миг он с наслаждением вцепился бы Петрасу в глотку. „Если бы это произошло не с моей дочерью, а с вашей

женой, — хочет сказать он Петрасу, — вы бы не набивали спокойно трубку, не взвешивали бы с такой рассудительностью слова!“ „Осквернение“ — вот то слово, которое ему хотелось вытянуть из Петраса. „Да, это было осквернение, — хотел бы услышать он, — да, это было насилие“.

Молча, бок о бок, они с Петрасом завершают работу.

Так теперь и проходят дни на ферме. Он помогает Петрасу чистить оросительную систему. Ковыряется в огороде, спасая его от полной погибели. Пакует товары для продажи на рынке. Помогает Бев Шоу в клинике. Метет полы, готовит еду, делает все то, чего больше не делает Люси. Занят он с рассвета и до заката.

Глаз заживает на удивление быстро: всего-то неделя прошла, а он уже видит им. Ожоги заживают медленнее. Он так и ходит с забинтованной головой, носит повязку на ухе. Ухо, когда повязка снимается, оказывается схожим с голым розовым моллюском: он не уверен, что ему хватит смелости когда-нибудь выставить его напоказ.

Он покупает шляпу, чтобы защитить голову от солнца и, до некоторой степени, укрыть от посторонних взглядов лицо. Он старается свыкнуться со своей странноватой внешностью, хуже,

чем странноватой, — отталкивающей — жалкое создание, из тех, на кого таращатся разинув рты дети на улицах. „Почему этот дядя такой странный?“ — спрашивают они у матерей, а те шикают, заставляя детей замолчать.

В магазины Сейлема он заглядывает так редко, как только может, в Грейамстаун наезжает лишь по субботам. Он вдруг обратился в затворника, в сельского затворника. „Теперь уж не побродишь. Хоть любовь не оскудела и в полях светло как днем“[29]. Кто мог подумать, что все окончится так скоро и так внезапно — любовь, прогулки! У него нет причин полагать, будто слухи об их беде уже расползлись по Кейптауну. И все же ему необходима уверенность, что рассказ о ней не дойдет до Розалинды в искаженном виде. Он дважды пытается дозвониться до нее — безуспешно. На третий раз он звонит ей на работу, в бюро путешествий. Розалинда на Мадагаскаре, сообщают ему, отправилась оглядеться, выяснить, что там к чему; он получает номер ее факса в Антананариву.

Он составляет послание: „Нас с Люси постигли кое-какие неудачи. У меня украли машину, кроме того, произошла потасовка, в которой меня

---

[29] notes: 29
Из Байрона.

немного помяли. Ничего серьезного — мы оба в порядке, хотя отчасти выбиты из колеи. Решил дать тебе знать об этом на случай, если до тебя дойдут какие-нибудь слухи. Надеюсь, ты приятно проводишь время“. Он показывает написанное Люси на предмет утверждения, затем отдает Бев Шоу, чтобы та отправила факс Розалинде, в самую что ни на есть Черную Африку.

Люси по-прежнему худо. Она проводит ночи на ногах, уверяя, что не может заснуть, а после полудня он обычно находит ее на софе, спящей засунув, точно дитя, большой палец в рот. Дочь утратила интерес к еде, притрагиваться к мясу и вовсе отказывается, и, чтобы заманить ее за стол, ему приходится готовить непривычные блюда.

Не затем он сюда приехал — не для того, чтобы застрять в глуши и нянчиться с дочерью, отгонять от нее демонов, поддерживать разваливающееся хозяйство. Если у его приезда и была какая-то цель, то состояла она в том, чтобы прийти в себя, собраться с силами. А здесь он что ни день теряет себя.

Демоны и его не обходят стороной. Его посещают собственные ночные кошмары, в которых он лежит в пропитанной кровью постели, или беззвучно вопит, задыхаясь, или бежит от человека

с лицом как у ястреба, как у бенинской маски, как у Тота. Однажды ночью, наполовину сомнамбула, наполовину помешанный, он сдирает с кровати простыни и даже переворачивает матрас в поисках пятен крови.

И остается еще его байроновский замысел. Из привезенных им книг уцелели только два тома писем — остальные лежали в багажнике угнанной машины. Публичная библиотека Грейамстауна не может предложить ничего, кроме избранных стихотворений. Но так ли уж необходимо ему продолжать чтение? Что еще должен он узнать о времяпрепровождении Байрона и его друзей в старой Равенне? Разве он уже не способен придумать Байрона, подлинного Байрона, да и Терезу тоже?

По правде сказать, он уже несколько месяцев откладывает этот миг — миг, когда придется взглянуть в лицо чистой странице, взять первую ноту, выяснить, чего он, собственно, стоит. В мозгу его запечатлелись отрывки любовного дуэта, вокальные линии сопрано и тенора, которые, подобно змеям, бессловесно обвивают одна другую и расползаются в стороны. Мелодия без кульминации; чешуйчатый шелест, с которым ползут по мраморным лестницам рептилии; а на

заднем плане — дрожащий баритон униженного мужа. Быть может, здесь-то это безрадостное трио наконец и явится на свет — не в Кейптауне, но в старинной Кафрарии?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Две молодые овцы так и остаются весь день привязанными на проплешине у конюшни. Их блеяние, неутомимое и однообразное, начинает его раздражать. Он отправляется к Петрасу, чинящему, перевернув вверх колесами, велосипед.

— Я насчет этих овец, — говорит он. — Вам не кажется, что мы могли бы привязать их там, где они смогут попастись?

— Они для праздника, — говорит Петрас. — В субботу у меня праздник, я их зарежу. Вы с Люси тоже должны прийти. — Петрас оттирает дочиста руки. — Я приглашаю вас с Люси в гости.

— В субботу?

— Да, в субботу я созываю гостей. Много гостей.

— Спасибо. Но даже если овцы предназначены для праздника, не кажется ли вам, что их следует пасти?

Проходит час, а овцы все еще там, где были, и блеют все так же жалобно. Петраса не видать. Выйдя из себя, он отвязывает овец и пинками гонит к запруде, у которой растет густая трава.

Овцы долго пьют, потом начинают неторопливо пощипывать травку. Это черномордые персиянки одинаковой величины, с одинаковыми метинами и даже движениями. Судя по всему, близняшки, с самого рождения обреченные ножу мясника. Что же, обычное дело. Когда овца в последний раз умирала от старости? Овцы себе не принадлежат, и жизни их принадлежат не им. Они существуют для того, чтобы ими пользоваться, использовать их до последней унции — мясо съесть, кости размолоть и скормить домашней птице. Всему находится применение, кроме, может быть, желчного пузыря, которого никто есть не станет. Декарту стоило бы поразмыслить над этим. Душа, подвешенная во мраке, в желчном пузыре, — неплохое укрытие.

— Петрас пригласил нас в гости, — говорит он Люси. — Почему он устраивает праздник?

— Думаю, потому, что становится землевладельцем. Официально это произойдет первого числа следующего месяца. Большой день для него. Надо хотя бы показаться там, принести подарок.

— Он собирается зарезать двух овец. Не думаю, чтобы их хватило на всех.

— Петрас скупердяй. В прежние времена в та-

ких случаях забивали быка.

— Что-то не нравится мне его манера. Притащил сюда двух обреченных на заклание животных для знакомства с людьми, которые их съедят!

— А что бы ты предпочел? Чтобы их резали на бойне, избавляя тебя от необходимости думать об этом?

— Да.

— Проснись, Дэвид. Такова наша страна. Такова Африка.

Последнее время в Люси проступает сварливость, на его взгляд неоправданная. Обычно он отвечает ей тем, что погружается в молчание. Временами они походят на двух живущих в одном доме посторонних людей.

Он говорит себе, что нужно потерпеть, что на Люси все еще лежит тень пережитого ею насилия, что должно пройти время, прежде чем она снова станет собой. Но что, если он ошибается? Что, если человек, претерпевший такое насилие, уже никогда не будет снова собой? Что, если после такого насилия он становится новой, куда более отталкивающей личностью?

Существует и другое, еще более зловещее объяснение капризности Люси, объяснение, которое

он никак не может выкинуть из головы.

— Люси, — вдруг спрашивает он в тот же день, — ты ничего от меня не скрываешь, а? Ты ничего не подцепила от тех мужчин?

Она сидит на софе в пижаме и халате, играя с кошкой. Послеполуденный час. Кошка молоденькая, игривая, резвая. Люси раскачивает перед кошачьей мордочкой кончик пояска халата. Кошка бьет по нему лапой, быстро, легкими ударами — раз-два-три-четыре.

— Мужчин? — переспрашивает Люси. — Каких мужчин?

Она отводит конец пояска в сторону, кошка сигает следом.

„Каких мужчин?“ У него замирает сердце. Уж не помешалась ли она, если отказывается помнить о них.

Но нет, тут же выясняется, что Люси просто поддразнивает его.

— Дэвид, я уже не дитя. Я была у врача, сдала анализы, я сделала все, что может сделать разумный человек. Теперь остается только ждать.

— Понятно. И под „ждать“ ты имеешь в виду — ожидать того, что, как я полагаю, ты имеешь в виду?

— Да.

— Сколько это займет времени?

Она пожимает плечами.

— Месяц. Три месяца. Больше. Наука еще не определила пределов того, как долго может ждать человек. Быть может, вечно.

Кошка вцепляется когтями в конец пояска. Но игра уже закончилась.

Он садится рядом с дочерью; кошка спрыгивает с софы и с важным видом удаляется. Он берет дочь за руку. Теперь, когда он совсем рядом с ней, он ощущает запашок затхлости, немытости.

— По крайности, вечно это не продлится, голубка, — говорит он. — По крайности, от этого ты будешь избавлена.

Остаток дня овцы проводят там, где он их привязал, у запруды. Наутро он снова видит их у конюшни, на голой земле. Предположительно они пробудут тут до субботнего утра — два дня. Не лучшее препровождение последних двух дней жизни. Сельский уклад — так называет подобного рода вещи Люси. Он знает и другие слова: равнодушие, бессердечие. Если деревня вправе судить город, то и город вправе судить деревню.

Он задумывается — не выкупить ли овец у Петраса. Но чего он этим добьется? Петрас купит других, а разницу положит в карман. И что он

будет делать с овцами после того, как спасет их от смерти? Отпустит гулять по большой дороге? Запрет в собачьем вольере и станет кормить сеном?

Непонятно каким образом, но его и двух персиянок связали некие узы. Не узы любви, нет. Собственно, и связали-то они его не именно с этой парой овец, которых он даже не смог бы узнать в пасущемся стаде. И тем не менее вдруг, без всякой на то причины, участь их стала ему небезразличной.

Он стоит перед овцами на солнцепеке, ожидая, когда утихнет гул в голове, ожидая знака.

Муха пытается забраться в ухо одной из овец. Ухо дергается. Муха снимается, кружит, возвращается, садится. Ухо дергается снова.

Он делает шаг вперед. Овцы встревоженно отпрядывают, насколько хватает цепи.

Он вспоминает, как Бев Шоу прижималась к старому козлу с изуродованной мошонкой, как она гладила его, утешала, становясь частью его жизни. Как ей это удается — единение с животными? Некий фокус, которого он не знает. Возможно, чтобы исполнить его, нужно быть человеком определенного склада, человеком без сложностей.

Солнце со всей весенней силой бьет ему в лицо. Должен ли я измениться? — думает он. Стать таким, как Бев Шоу?

Он заговаривает с Люси:

— Я тут поразмыслил о празднике Петраса. В общем и целом, я предпочел бы на него не ходить. Это не покажется грубостью?

— Ты это из-за овец?

— Да. Нет. Я не переменил образ мыслей, если ты это имеешь в виду. Я, как и прежде, не верю, что животным присуща подлинная индивидуальность. Кому из них предстоит уцелеть, кому умереть — все это, на мой взгляд, не стоит переживаний. И все же…

— И все же?

— И все же в данном случае мне как-то не по себе. Не знаю почему.

— Ну, Петрас и его гости вряд ли откажутся от бараньих отбивных из уважения к тебе и твоей чувствительности.

— Да я об этом и не прошу. Я просто предпочел бы не участвовать в празднике на этот раз. Прости. Никогда не думал, что закончу разговорами подобного рода.

— Пути Господни неисповедимы, Дэвид.

— Не стоит надо мной смеяться.

Близится суббота, базарный день.

— Торговать будем? — спрашивает он у Люси.

Та пожимает плечами.

— Решай сам, — говорит она.

Он решает не торговать.

Он не спрашивает ее о причинах; на самом-то деле он испытывает облегчение.

Приготовления к празднику Петраса начинаются в субботу пополудни — с появления полудюжины крепкого сложения женщин, разряженных, по его понятиям, как для церкви. За конюшнями разводят огонь, и скоро ветерок приносит оттуда смрад варящихся потрохов, из чего он заключает, что дело сделано, два дела, что все кончено.

Должен ли он скорбеть? Правильно ли это скорбеть о смерти существ, которые сами не скорбят друг о друге? Заглянув в свое сердце, он находит там лишь невнятную грусть.

Слишком близко, думает он, мы живем слишком близко от Петраса. Это все равно что делить кров с чужими людьми — общие звуки, общие запахи.

Он стукает в дверь Люси.

— Прогуляться не хочешь? — спрашивает он.

— Спасибо, нет. Возьми Кэти.

Он берет с собой бульдожиху, но та настолько неповоротлива и нетороплива, что он в приступе раздражения гонит ее обратно на ферму и в одиночестве проделывает восьмикилометровую петлю, шагая быстро, стараясь как следует вымотаться.

В пять начинают прибывать гости — на своих машинах, в такси, пешком. Он наблюдает за ними из-за кухонной занавески. Большинство примерно одних с хозяином лет, степенные, солидные люди. Одна старуха становится причиной особенной суеты: Петрас, облачившийся в синий костюм и безвкусную розовую рубашку, проходит весь подъездной путь, чтобы поздороваться с ней.

Гости помоложе появляются уже в темноте. Ветерок доносит приглушенный шум разговоров, смех, музыку — музыку, связанную для него с Йоханнесбургом времен его молодости. Вполне терпимо, думает он, и даже вполне приятно.

— Пора, — говорит Люси. — Ты идешь?

Вид у нее непривычный — платье до колен, высокие каблуки, ожерелье из раскрашенных деревянных бусин и такие же серьги. Он не уверен, что общее впечатление ему так уж по душе.

— Ладно, пошли. Я готов.

— Костюма ты с собой не привез?

— Нет.

— Тогда хоть галстук надень.

— А я-то думал, что мы в деревне.

— Тем больше причин приодеться. Для Петраса это большой день.

Люси берет с собой маленький фонарик. Тропинкой они доходят до дома Петраса, отец и дочь, рука в руке, дочь освещает путь, отец несет подарок.

Они останавливаются, улыбаясь, у открытой двери. Петраса не видно, впрочем, к ним выходит девочка в вечернем платье и вводит их в дом.

У старой конюшни нет потолка, да и пола-то толком нет, однако она по крайней мере просторна и по крайней мере освещена электричеством. Лампы под абажурами и картинки на стенах (подсолнухи Ван Гога, написанная Третчиковым[30] женщина в синем, Джейн Фонда в костюме Барбареллы[31] и забивающий гол Доктор Кумало[32])

---

[30] notes: 30

Владимир Третчиков (р. 1913) — английский художник русского происхождения.

[31] notes: 31

В 1968 г. Джейн Фонда сыграла роль космической авантюристки в фантастическом фильме Роже Вадима „Барбарелла, королева галактики“.

[32] notes: 32

Южноафриканский футболист (р. 1967).

смягчают общую унылость картины.

Кроме них, белых здесь нет. Гости танцуют — под старомодный африканский джаз, который он слышал из кухни. На него и Люси бросают любопытные взгляды, хотя, возможно, все дело в повязке на его голове.

Некоторых женщин Люси знает. С другими ее знакомят. Затем около них обнаруживается Петрас. Он не разыгрывает гостеприимного хозяина, не предлагает им выпить, но говорит:

— Собак больше нет. Я больше не собачник.

Люси предпочитает счесть это шуткой; значит, все, надо думать, в порядке.

— Мы вам кое-что принесли, — говорит Люси, — хотя, возможно, лучше отдать это вашей жене. Это для дома.

Петрас, обернувшись к кухне, если это так у них именуется, подзывает жену. Он впервые видит ее вблизи. Молодая женщина, моложе Люси, с лицом скорее приятным, чем красивым, застенчивая, несомненно беременная. Она пожимает руку Люси, но не ему и в глаза ему не глядит.

Люси произносит на коса несколько слов и вручает женщине сверток. Вокруг уже собралось с полдюжины зрителей.

— Она должна его развернуть, — говорит Пет-

рас.

— Да, вы должны его развернуть, — говорит Люси.

Осторожно, стараясь не надорвать подарочную бумагу, разрисованную мандолинами и веточками лавра, молодая жена Петраса разворачивает сверток. На свет появляется кусок ткани с довольно милым ашантским[33] орнаментом.

— Спасибо, — произносит женщина по-английски.

— Это покрывало на постель, — объясняет Петрасу Люси.

— Люси наша благодетельница, — громко объявляет Петрас и затем, обращаясь к Люси: — Вы наша благодетельница.

Безвкусное, на его взгляд, слово, двусмысленное, испортившее эту минуту. И все же можно ли винить Петраса? Язык, которым он с таким апломбом пользуется, давно уже — знал бы об этом Петрас! — стал изношенным, рыхлым, как бы изгрызенным изнутри термитами. Только на односложные слова и можно еще полагаться, да и то не на все.

Что тут делать? Ничего такого, что способен

---

[33] notes: 33
От ашанти, живущей в Гане народности.

придумать он, бывший преподаватель методов передачи информации. Ничего, разве вот начать сызнова, с азов. Но ко времени, когда вернутся длинные слова — воссозданные, очищенные, внушающие доверие, — он будет уже мертвецом с солидным стажем.

Он вздрагивает, будто пронизанный хладом могилы.

— Ребенок… когда вы ожидаете ребенка? — спрашивает он у жены Петраса.

— В октябре, — встревает Петрас. — Ребенок родится в октябре. Надеемся, мальчик.

— О! А что вы имеете против девочек?

— Мы молимся о мальчике, — говорит Петрас. — Всегда лучше, если первенец мальчик. Тогда он сможет объяснить сестрам… объяснить, как себя вести. Да. — Петрас примолкает. — Девочка больно дорого обходится. — Он потирает указательным пальцем о большой. — Все время деньги, деньги, деньги.

Давно уж не видел он этого жеста. В прежние дни им часто пользовались евреи: деньги-деньги-деньги, и так же многозначительно покачивали головами. Но Петрас, по-видимому, не осведомлен об этом остаточном европейском наследии.

— Мальчики тоже порою недешевы, — замеча-

ет он, дабы внести свой вклад в беседу.

— Купи им то, купи им это, — продолжает Петрас, входя во вкус избранной темы и больше уже не слушая собеседника. — В наши-то дни мужчина больше не платит за женщину. Я плачу. — Он поводит рукою над головой жены; та скромно потупляет взор. — Я плачу. Хоть это и старомодно. Платья, хорошие вещи, все время одно и то же: покупаешь, покупаешь, покупаешь. — Он опять потирает пальцем о палец. — Нет, мальчик лучше. Ваша дочь исключение. Ваша дочь ничем не хуже мальчика. Почти! — Он заливается смехом, радуясь собственному остроумию. — А, Люси?

Люси улыбается, но он знает, что дочери неловко.

— Пойду потанцую, — негромко произносит она и уходит.

Взойдя на танцевальный помост, она танцует одна — солипсическая манера, похоже, вошедшая в моду. Вскоре к ней присоединяется молодой человек, высокий, гибкий, опрятно одетый. Он танцует прямо перед Люси, прищелкивая пальцами, улыбаясь ей, ища ее расположения.

Снаружи начинают подходить женщины с подносами жареного мяса. Аппетитные запахи наполняют воздух. Появляются все новые гости,

молодые, шумные, раскованные, нимало не старомодные. Праздник набирает обороты.

В руках у него оказывается тарелка с едой. Он протягивает ее Петрасу.

— Нет, — говорит Петрас, — это для вас. А то мы так и будем всю ночь передавать друг другу тарелки.

Петрас с женой уделяют ему немалое время, стараясь, чтобы он здесь освоился. Милые люди, думает он. Сельские жители.

Он оглядывается на Люси. Молодой человек танцует уже в нескольких дюймах от нее, высоко вздергивая колени, притопывая, покачивая руками, наслаждаясь своими движениями.

На тарелке, которую он держит в руках, две бараньи отбивные, печеный картофель, тонущий в мясном соке рис, ломоть дыни. Он находит свободный стул и разделяет его с изможденным стариком, у которого слезятся глаза. Придется съесть это. Съесть, а там уж просить о прощении.

Внезапно рядом с ним возникает Люси, она часто дышит, лицо застыло.

— Давай уйдем, — произносит она. — Они здесь.

— Кто „они“?

— Я видела одного из них там, за домом. Дэвид, я не хочу поднимать шум, но давай уйдем, сейчас же.

— Подержи-ка. — Он вручает Люси тарелку и выходит через заднюю дверь.

Гостей тут не меньше, чем внутри, — они толпятся у огня, беседуют, пьют, смеются. Кто-то разглядывает его из-за костра. И все сразу встает по местам. *Это* лицо ему знакомо, знакомо очень хорошо. Он проталкивается через толпу. „А вот я шум подниму, — думает он. — Жаль, что именно сегодня. Но есть вещи, которые ждать не могут“.

Он останавливается прямо перед юнцом. Третий из тех, туповатый подручный, мальчик на побегушках.

— Я тебя знаю, — с угрозой произносит он.

Юнец, похоже, ничуть не пугается. Напротив, юнец, похоже, именно этого мига и ждал, копил, в предвкушении, силы.

— Кто ты такой? — спрашивает он сдавленным от злобы голосом, однако слова его означают нечто иное: „По какому праву ты здесь?“ Все тело юнца излучает ненависть.

Тут к ним присоединяется Петрас, быстро говорит что-то на коса.

Он кладет на рукав Петраса руку. Петрас, бросив

на него нетерпеливый взгляд, руку стряхивает.

— Вы знаете, кто это? — спрашивает он у Петраса.

— Нет, я не знаю, кто это, — сердито отвечает Петрас. — И не знаю, почему начался скандал. Почему начался скандал?

— Он — этот бандит — уже был здесь однажды со своими дружками. Он один из них. Но пусть *он* вам об этом расскажет. Пусть *он* расскажет, почему его разыскивает полиция.

— Неправда! — орет юнец. И снова обращается к Петрасу, извергая поток гневных слов.

Музыка продолжает разливаться в ночном воздухе, но никто больше не танцует: гости Петраса столпились вокруг них, теснясь, толкаясь, обмениваясь замечаниями. Атмосфера не из самых приятных.

Петрас говорит:

— По его словам, он не знает, о чем идет речь.

— Он врет. Все он отлично знает. Люси подтвердит.

Хотя Люси, разумеется, ничего не подтвердит. Как может он ожидать, что Люси на глазах у всех этих незнакомых людей подойдет к мальчишке, ткнет в него пальцем и скажет: „Да, это один из тех. Из тех, что сделали дело“.

— Я позвоню в полицию, — говорит он.

Неодобрительный ропот зрителей.

— Я позвоню в полицию, — повторяет он, обращаясь к Петрасу. Лицо Петраса делается каменным.

Сквозь пелену молчания он возвращается в дом, туда, где стоит, ожидая его, Люси.

— Пойдем, — говорит он.

Гости расступаются перед ними. Никакого дружелюбия их лица больше не выражают. Люси забыла фонарик: в темноте они сбиваются с тропы; Люси приходится разуться; прежде чем попасть домой, они забредают на картофельное поле.

Он уже держит в руке телефонную трубку, когда Люси останавливает его:

— Нет, Дэвид, не делай этого. Петрас не виноват. Если ты позвонишь в полицию, ты испортишь ему весь вечер. Будь благоразумен.

Он поражен, поражен настолько, что набрасывается на дочь:

— Ради бога, как это Петрас не виноват? Прежде всего, так или иначе, но именно он привел сюда тех мужчин. А теперь ему хватило наглости пригласить их в гости. И почему это я должен быть благоразумным? Знаешь, Люси, я ничего не могу

понять, от начала и до конца. Я не смог понять, отчего ты не выдвинула против них *настоящего* обвинения, а сейчас не понимаю, чего ради ты защищаешь Петраса. Петрас не невинная овечка, Петрас заодно с ними.

— Не ори на меня, Дэвид. Это моя жизнь. Из нас двоих именно мне предстоит жить здесь. То, что со мной случилось, — мое дело, только мое, не твое, и если у меня есть хоть одно право, так это право на то, чтобы ко мне не цеплялись, чтобы мне не приходилось оправдываться — ни перед тобой, ни перед кем-то еще. А насчет Петраса — он не наемный батрак, которого я могу выгнать, потому что он, как мне представляется, связался с дурными людьми. Это все в прошлом, унесено ветром. Если ты хочешь бороться с Петрасом, убедись для начала в основательности фактов, которыми ты располагаешь. Ты не станешь звонить в полицию. Я тебе не позволю. Подожди до утра. Подожди, пока Петрас не объяснит, как он все это себе представляет.

— А мальчишка тем временем скроется!

— Не скроется. Петрас его знает. Да и в любом случае в Восточном Кейпе никому еще скрыться не удавалось. Не такое это место.

— Люси, Люси, я умоляю тебя! Ты хочешь ис-

купить мерзости прошлого, но это же так не делается. Если ты сейчас не постоишь за себя, ты никогда больше не сможешь высоко держать голову. С равным успехом ты можешь уложить вещи и уехать. Что же касается полиции — если ты чересчур деликатна, чтобы позвонить туда сейчас, так нечего нам было и в первый раз к ним обращаться. Сидели бы себе тихо и ждали следующего нападения. Или перерезали бы самим себе глотки.

— Перестань, Дэвид! Я не обязана оправдываться перед тобой. Ты *не знаешь, что произошло.*

— Я не знаю?

— Не знаешь, ты еще и близко к этому не подошел. Помолчи и подумай. А насчет полиции — позволь тебе напомнить, почему мы к ним обратились: из-за страховки. Мы подали заявление, потому что иначе нам бы не выплатили страховку.

— Люси, ты меня изумляешь. Это просто неправда, и тебе это известно. Что до Петраса, я повторяю: если ты сейчас отступишься, если проявишь слабость, ты просто не сможешь жить в мире с собой. У тебя есть обязанности перед собой, перед будущим. В конце концов, должна же ты себя уважать. Разреши мне позвонить в

полицию. Или позвони сама.

— Нет.

„Нет“ — это последнее слово Люси. Она уходит к себе, захлопнув перед его носом дверь, отгородясь от него. Шаг за шагом, с такой же неумолимостью, как если б они были мужем и женой, их относит друг от дружки все дальше, и ничего он тут поделать не может. Сами их ссоры приобретают сходство с перебранками супругов, людей, которые попали в одну западню и которым некуда из нее податься. С каким, должно быть, сожалением вспоминает она день, в который он приехал к ней погостить! Как, должно быть, хочет, чтобы он оставил ее, и чем раньше, тем лучше!

Но ведь в конце-то концов и ей придется уехать отсюда. Как у женщины, одиноко живущей на ферме, у нее нет никакого будущего, это же ясно. Даже дни Эттингера, с его пистолетами, колючей проволокой и сигнализацией, и те сочтены. Будь у Люси хоть капля благоразумия, она бросила бы все, не дожидаясь, когда ее постигнет участь, горшая той, что горше смерти. Но ничего она не бросит. Люси упряма, Люси укоренилась здесь, в жизни, которую выбрала сама.

Он выскальзывает из дома. Осторожно ступая в темноте, приближается с тылу к конюшне.

Большой костер погас. Люди столпились у задней двери, достаточно широкой, чтобы принять трактор. Поверх их голов он заглядывает внутрь.

В середине помоста для танцев стоит один из гостей, мужчина средних лет. У него бритая голова и бычья шея; на нем темный костюм, с шеи свисает на золотой цепи медаль величиною с кулак — вроде тех, что выдавались племенным вождям в качестве символов занимаемого ими высокого положения. Символов, кои целыми ящиками чеканились в Ковентри или Бирмингеме: на одной стороне — голова недовольной чем-то Виктории, regina et imperatrix[34], на другой — антилопа гну или ибис, вздыбленные. „Медали. Племенные вожди. На предмет ношения“. Отгрузка во все края былой империи: в Нагпур, на Фиджи, на Золотой Берег, в Кафрарию.

Мужчина что-то говорит, произносит, возвышая и приглушая голос, речь, состоящую из закругленных фраз. Он понятия не имеет, чему посвящена речь, но время от времени мужчина примолкает, и тогда люди, молодые и старые, видимо, испытывая тихое удовлетворение, что-то одобрительно бормочут.

---

[34] notes: 34
Королевы и императрицы *(лат.)*.

Он оглядывается по сторонам. Мальчишка стоит неподалеку, как раз в двери. Взгляд юнца боязливо скользит по его лицу. Да и другие взгляды тоже обращаются к нему — к чужаку, к странному пришельцу. Мужчина с медалью хмурится, на миг сбивается и снова возвышает голос.

Ну что же, пусть смотрят. Пусть знают, что я еще здесь, думает он, пусть знают, что я не прячусь в большом доме. И если это испортит им праздник, значит, так тому и быть. Он поднимает руку к своей белой повязке. В первый раз он радуется, что она у него есть, что он может носить ее как знак отличия.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Все следующее утро Люси его избегает. Обещанной встречи с Петрасом не происходит. Впрочем, во второй половине дня Петрас, как всегда деловитый, в башмаках и комбинезоне, сам стучится в заднюю дверь. Пора заняться трубами, говорит Петрас. Нужно проложить полихлорвиниловые трубы от запруды до его нового дома, это метров двести. Нельзя ли на время взять инструменты и не поможет ли Дэвид наладить регулятор?

— Я не разбираюсь в регуляторах. И ничего не смыслю в водопроводах.

У него нет никакого желания помогать Петрасу.

— Речь не о водопроводе, — говорит Петрас. — Речь о подгонке труб. Мы просто проложим трубы.

По дороге к насыпи Петрас разглагольствует о разного рода регуляторах, о водяных затворах, соединительных стыках; он произносит эти слова с некоторой помпезностью, демонстрируя свое знание предмета. Новые трубы пройдут по земле Люси, говорит он, хорошо, что она это разрешила.

Она „дальновидна“.

— Эта женщина смотрит вперед, а не назад.

Насчет вчерашнего праздника, насчет юнца с бегающими глазами Петрас помалкивает. Все выглядит так, будто ничего не произошло.

Вскоре становится ясной собственная его роль на насыпи. Он нужен Петрасу не для консультаций по части подгонки труб или водопроводного дела, а просто для того, чтобы держать то да се, подавать инструменты — фактически выполнять работу Петрасова handlangera[35]. Роль не из тех, против которой он стал бы возражать. Петрас — мастер своего дела, только наблюдать за ним уже значит получать образование. А вот сам Петрас нравится ему все меньше. Петрас бубнит и бубнит о своих планах, а он проникается к нему все большей и большей неприязнью. Не хотел бы он попасть с Петрасом на необитаемый остров. И уж тем более не хотел бы оказаться на месте его жены. Личность доминирующего склада. Конечно, Петрасова молодая жена выглядит счастливой; хотелось бы узнать, однако, что может порассказать жена старая.

Наконец, почувствовав, что с него хватит, он

---

[35] notes: 35
Подручного (нем.).

прерывает Петрасову болтовню.

— Петрас, — говорит он, — тот молодой человек, который был на вашем празднике, как его зовут и где он сейчас?

Петрас снимает фуражку, утирает лоб. Сейчас на нем форменная фуражка с серебряной бляхой Южно-Африканских железных дорог и портов. Он что, коллекционирует головные уборы?

— Понимаете, Дэвид, — насупливая брови, говорит Петрас, — это вы нехорошие слова сказали, что тот юноша вор. Он очень рассердился на вас за то, что вы назвали его вором. Так он всем говорит. А я… я человек, который следит, чтобы тут все было тихо-мирно. Поэтому и мне тяжело было это услышать.

— Я не собираюсь впутывать вас в это дело, Петрас. Назовите мне имя мальчишки, скажите, где он, и я передам все полиции. И пусть она проводит расследование и отдает его под суд вместе с дружками. И вы замешаны не будете, и я не буду, пускай с ними разбирается закон.

Петрас потягивается, подставляя лицо потоку солнечных лучей.

— Но ведь страховая компания даст вам новый автомобиль.

Это вопрос? Или утверждение? В какие игры

играет Петрас?

— Страховая компания не даст мне нового автомобиля, — стараясь не вспылить, объясняет он Петрасу. — Страховая компания, если она еще не обанкротилась из-за размаха, который приобрел в стране угон автомобилей, даст мне определенный процент от того, что она сочтет стоимостью старого. Новой машины на эти деньги не купишь. Да и как бы там ни было, тут вопрос принципа. Мы не можем позволить, чтобы правосудие отправлялось страховыми компаниями. Не их это дело.

— Но от этого мальчика вы свою машину назад не получите. Он не сможет вернуть ее вам. Он не знает, где ваша машина. Ваша машина пропала. Самое лучшее — купите на страховку другую, и тогда у вас снова будет машина.

Как его занесло в этот тупик? Он пробует зайти с другой стороны.

— Петрас, позвольте спросить, этот юнец — ваш родственник?

— И зачем, — продолжает Петрас, как бы не расслышав вопроса, — вы хотите отдать мальчика полиции? Он слишком молод, в тюрьму его все равно не посадят.

— Если ему исполнилось восемнадцать, его

можно судить. И если шестнадцать — тоже.

— Нет, нет, ему еще нет восемнадцати.

— Откуда вы знаете? Судя по виду, восемнадцать ему уже есть, если не больше.

— Да знаю, знаю! Он просто мальчишка, его нельзя посадить в тюрьму, так по закону, мальчишку посадить нельзя, его положено отпустить.

Похоже, для Петраса этим спор и исчерпывается. Петрас тяжело опускается на одно колено и приступает к подсоединению выходной трубы.

— Петрас, моя дочь хочет быть хорошей соседкой — хорошей гражданкой и хорошей соседкой. Она любит Восточный Кейп. Она хочет жить здесь, бок о бок со всеми вами. Но как это возможно, если бандиты могут в любую минуту напасть на нее и уйти безнаказанными? Вы же прекрасно все понимаете!

Петрас, прилагая немалые усилия, пытается насадить на трубу соединительную муфту. Кожу его рук покрывают глубокие, грубые трещины; работая, он негромко покрякивает; никаких признаков того, что он услышал хоть слово.

— Люси здесь в безопасности, — вдруг объявляет он. — Все улажено. Вы можете уезжать, она в безопасности.

— В какой там безопасности, Петрас! Ни в какой она не в безопасности! Вы же знаете, что произошло двадцать первого!

— Да, я знаю, что произошло. Но теперь все улажено.

— Кто говорит, что все улажено?

— Я говорю.

— Вы говорите? Вы защитите ее?

— Я ее защищу.

— В прошлый раз вы ее не защитили.

Петрас наносит на трубу новый слой смазки.

— Вы говорите, что знаете о случившемся, но ведь вы ее не защитили, — повторяет он. — Вы уехали, появились трое бандитов, а теперь оказывается, что вы в дружбе с одним из них. Какой, по-вашему, вывод я должен сделать?

Ближе к тому, чтобы предъявить обвинение Петрасу, он еще не подходил. Но почему бы и нет?

— Мальчик не виноват, — говорит Петрас. — Он не преступник. И не вор.

— Я не об одном только воровстве говорю. Совершено и другое преступление, куда более тяжкое. По вашим словам, вы знаете, что произошло. Стало быть, должны понимать, что я имею в виду.

— Он не виноват. Слишком молодой. Просто он совершил большую ошибку.

— Вы точно знаете?

— Знаю.

Труба подогнана. Петрас сгибает хомут, стягивает его, встает, распрямляет спину.

— Знаю. Я же вам говорю. Я знаю.

— Вы знаете. Вам ведомо будущее. Что я могу на это сказать? Вы высказались. Я вам здесь еще нужен?

— Нет, дальше все просто, осталось только зарыть трубу.

———

Несмотря на доверие, которое питает Петрас к страховому делу, никакой реакции на поданный им иск не следует. Без машины он чувствует себя запертым на ферме.

Как-то вечером в клинике он отводит душу, рассказав обо всем Бев Шоу.

— Мы с Люси в раздоре, — говорит он. — Наверное, тут нет ничего удивительного. Родители и дети не созданы для совместной жизни. В нормальных обстоятельствах я бы уже уехал, вернулся в Кейптаун. Но не могу оставить Люси одну на ферме. Я пытаюсь уговорить ее передать

хозяйство Петрасу и отдохнуть. Но она меня не слушает.

— Детям необходимо предоставлять свободу, Дэвид. Вы же не сможете вечно присматривать за Люси.

— Я уж давным-давно предоставил ей свободу. В сравнении с другими отцами я меньше, чем кто-либо из них, пытался оградить ее от жизни. Но сейчас положение совершенно иное. Она в самой настоящей опасности. Нам это продемонстрировали.

— Все будет хорошо. Петрас возьмет ее под свое крылышко.

— Петрас? Какая Петрасу выгода брать ее под крылышко?

— Вы недооцениваете Петраса. Петрас работал как раб, чтобы огород Люси стал приносить доход. Без Петраса Люси не достигла бы того, что у нее сейчас есть. Я не говорю, будто она обязана ему всем, но что многим — несомненно.

— Очень может быть. Вопрос в том, чем обязан ей Петрас.

— Петрас человек порядочный. Вы можете на него положиться.

— Положиться на Петраса? Вы причисляете Петраса к кафрам старого пошиба потому, что он

отрастил бороду, курит трубку и разгуливает с палкой, да только Петрас вовсе не кафр старого пошиба и уж тем более не порядочный человек. Насколько я понимаю, Петрас спит и видит, как бы ему выпихнуть отсюда Люси. Если вам нужны доказательства, вспомните, что случилось с Люси и со мной, большего не потребуется. Задумано все это было, возможно, не Петрасом, но он определенно постарался закрыть глаза, определенно не предупредил нас, определенно принял меры к тому, чтобы оказаться от нас подальше.

Его горячность озадачивает Бев Шоу.

— Бедная Люси, — шепчет она, — через что ей пришлось пройти!

— Я знаю, через что ей пришлось пройти. Я был там.

Бев смотрит на него, широко открыв глаза.

— Но, Дэвид, вас же там не было. Она сама мне сказала. Вас не было там.

„Тебя там не было. Ты не знаешь, что произошло“. Он совершенно сбит с толку. Где это его не было, согласно Бев Шоу, согласно Люси? В той комнате, где бандиты надругались над нею? Или, по их понятиям, ему неизвестно, что такое изнасилование? Что он мог там увидеть сверх того, что способен вообразить? Или, по их мнению,

ни один мужчина не способен понять, что переживает насилуемая женщина? Каков бы ни был ответ, он оскорблен, оскорблен тем, что к нему относятся как к постороннему.

———

Он покупает маленький телевизор взамен украденного. Вечерами, после ужина, он и Люси бок о бок сидят на софе, смотрят выпуски новостей и, если хватает терпения, развлекательные программы.

Все верно, визит его подзатянулся — и на его взгляд, и на взгляд Люси. Он устал жить на чемоданах, устал постоянно вслушиваться в хруст гравия на ведущей к дому дорожке. Ему хочется снова сесть за свой письменный стол, лечь в свою постель. Но Кейптаун далеко, почти в другой стране. Несмотря на советы Бев, несмотря на заверения Петраса, несмотря на упорное молчание Люси, он не может оставить дочь. Вот он и живет здесь до поры — в этом времени и в этом месте.

Способность видеть пострадавшим глазом полностью восстановилась. Зажила и кожа на голове, маслянистая повязка ему больше не нужна. Только ухо по-прежнему требует ежедневного ухода. Стало быть, время и вправду лечит все.

Кажется, излечивается и Люси, а если не излечивается, то забывает, наращивает рубцовую ткань вокруг воспоминаний о том дне, заключает их в плотную оболочку. И значит, настанет миг, когда она сможет сказать: „В день ограбления“, — и думать об этом дне просто как о дне ограбления.

Дневные часы он старается проводить под открытым небом, чтобы Люси чувствовала себя в доме свободно. Он копается в огороде, а когда устает, сидит на насыпи, наблюдая за жизнью утиного семейства и с грустью размышляя о своем байроновском замысле.

Замысел этот застыл без движения. Все, что у него есть, это разрозненные фрагменты. Первые слова первого акта ему так и не даются, первые ноты остаются уклончивыми, как струйки дыма. Временами его мучают опасения, что персонажи придуманной им истории, больше года бывшие его призрачными собеседниками, начнут исчезать один за другим. Даже самая привлекательная из них, Маргарита Когни[36], чьи неистовые контральтовые выпады против Байроновой сучки, Терезы Гвиччиоли, он так жаждет услышать, — ускользает даже она. Утрата их наполняет его

[36] notes: 36

Жена римского пекаря, с которой у Байрона был в 1818 г. недолгий роман (в том же году произошло его знакомство с Терезой).

отчаянием, таким же серым, ровным и в конечном счете бессмысленным, как головная боль.

При всякой возможности он уезжает в клинику Лиги защиты животных, берясь там за любую не требующую особой сноровки работу: за кормежку, уборку, мытье полов.

Животные, которых обслуживает клиника, это все больше собаки, реже кошки: по-видимому, для домашнего скота в районе Д имеются особые хранители ветеринарной премудрости, особые фармакопеи, особые целители. Собаки, которых приводят в Лигу, страдают от чумки, от переломов лап, от загноившихся ран, от чесотки, от запущенных опухолей, доброкачественных или злокачественных, от старости, от недоедания, от кишечных паразитов, но чаще всего от собственной плодовитости. Их попросту слишком много. Приводя сюда собаку, человек не говорит прямо: „Я хочу, чтобы вы ее усыпили“, но ожидает именно этого — что его избавят от собаки, что она исчезнет, удалится в страну забвения. В сущности, то, о чем они просят, есть Losung[37] (у немцев всегда отыщется под рукой уместно пустая абстракция) — возгонка, подобная возгонке

[37] notes: 37
Развязка; высвобождение *(нем.)*.

спирта, без осадка, без неприятного послевкусия.

Итак, по воскресеньям после полудня дверь клиники закрывается, запирается, и он помогает Бев Шоу losen скопившихся за неделю ненужных собак. Он извлекает их по одной из клетки на заднем дворе и отводит либо относит в хирургическую. Каждой из них в последние минуты их жизни Бев уделяет самое полное внимание: гладит их, разговаривает с ними, облегчая уход. Если — а так чаще всего и бывает — зачаровать собаку ей не удается, причина тому в его присутствии: слишком сильный смрад исходит от него („Они способны унюхать ваши мысли“), смрад стыда. Тем не менее именно он удерживает собаку, пока игла не отыщет вену и наркотик не ударит в сердце, и не вытянутся лапы, и не потускнеют глаза.

Он думал, что сможет привыкнуть. Но этого не случается. Чем больше убийств помогает он совершить, тем сильнее расшатываются его нервы. В одно из воскресений, вечером, когда он едет домой в комби Люси, ему, чтобы прийти в себя, приходится даже съехать на обочину и затормозить. Слезы катятся по лицу, он не может их остановить; руки трясутся.

Он не понимает, что с ним творится. До сих пор он оставался более-менее безразличным к

животным. Хотя в отвлеченном смысле он и не одобряет жестокости, однако сказать о себе, жестокий он человек или добрый, не способен. Он ни то ни другое — ничто. Он полагает, что люди, от которых жестокость требуется по долгу службы, те же работники боен к примеру, отращивают на своих душах черепаховые панцири. Привычка черствит: должно быть, в большинстве случаев так оно и есть, но, похоже, не в его. Похоже, он дара очерствления лишен.

Все его существо проникнуто происходящим в хирургической. Он убежден — собаки знают, что пробил их час. Несмотря на плавность и безболезненность процедуры, несмотря на благие помыслы, которые переполняют Бев и на которые он сам пытается настроиться, несмотря на герметичные мешки, в которые укладываются свежие трупы, собаки еще во дворе чуют, что делается в клинике. Они прижимают уши, опускают хвосты — словно ощущая бесчестье смерти; они упираются лапами в землю, их приходится тянуть либо подталкивать, а то и переносить через порог. На столе одни буйно мотают головами направо-налево, норовя вцепиться во что-нибудь зубами, другие жалобно поскуливают, но ни одна не глядит прямо на шприц в руке Бев, который

— они откуда-то знают это — вот-вот нанесет им ужасный, уже непоправимый ущерб.

Тяжелее всего ему с теми из собак, что обнюхивают его и пытаются лизнуть ему руку. Он не любит, когда его лижут, и первое его побуждение — руку отдернуть. К чему притворяться другом, когда ты на самом деле убийца? Но он быстро смягчается. Почему от существа, на которое пала тень смерти, нужно отшатываться, как от некоей мерзости? И он позволяет собакам лизать его, если им хочется, точно так же, как Бев Шоу гладит и целует их, если *они* ей позволяют.

Человек он, хочется надеяться, не сентиментальный. Он и старается не сентиментальничать по поводу животных, которых убивает, не сентиментальничать по поводу Бев Шоу. Он воздерживается от того, чтобы сказать ей: „Не понимаю, как вы можете это делать“, чтобы не услышать в ответ: „Кто-то же должен“. Он допускает, что в самой глубине души Бев Шоу может оказаться вовсе не ангелом-избавителем, а дьяволом, что под показным состраданием у нее может таиться заскорузлое сердце мясника. Он старается оставаться беспристрастным.

Поскольку иглу вводить приходится Бев, устранение останков он берет на себя. Наутро после

очередной серии убийств он едет на нагруженном комби к мусоросжигателю больницы колонистов и там предает тела огню, прямо в черных пластиковых мешках.

Проще было бы отвозить мешки к муеоросжигателю сразу после сеанса группового умерщвления и оставлять их там до прихода обслуживающих мусоросжигатель рабочих. Но это означало бы оставлять их в одной куче с прочей скопившейся за выходные дрянью: отбросами из больничных палат, собранной при дорогах падалью, зловонными отходами сыромятни — в мешанине и случайной и страшной. Он не готов пока подвергать их такому позору.

Поэтому воскресными вечерами он привозит мешки на ферму в багажнике принадлежащего Люси комби, оставляет их там на ночь, а наутро в понедельник отвозит в больницу. Здесь он сам переваливает их, по одному за раз, в вагонетку загрузочного устройства, включает механизм, который со скрежетом протаскивает вагонетку через стальные воротца печи в огонь, оттягивает рычаг, чтобы опустошить вагонетку, и со скрежетом возвращает ее назад, между тем как рабочие, которым положено заниматься этим делом, стоят в стороне, наблюдая за ним.

В первый свой понедельник он предоставил сожжение трупов рабочим. За ночь тела собак охватило трупное окоченение. Мертвые лапы их застревали в решетчатых стенках вагонетки, и когда она возвращалась из печи, в половине случаев возвращалась и собака, почерневшая, оскаленная, пахнущая паленой шерстью, уже без сгоревшего мешка. Вскоре рабочие начали, прежде чем загружать мешки в вагонетку, бить по ним лопатами, переламывая окоченевшие лапы. Вот тогда он и вмешался и вызвался сам выполнять эту работу.

Мусоросжигатель работает на антраците, воздух засасывается из него в дымоход электрическим вентилятором; сооружение это возникло, по его прикидкам, в пятидесятых, когда строилась и сама больница. Работает мусоросжигатель шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. На седьмой — отдыхает. Приходя поутру, рабочие первым делом выгребают пепел предыдущего дня, потом разжигают огонь. К девяти утра температура во внутренней топке достигает тысячи градусов по Цельсию, достаточной, чтобы кальцинировать кость. Огонь поддерживается до позднего утра; на остывание печи уходит все послеполуденное время.

Имен рабочих он не знает, как и они не знают его. Для них он просто человек, который вдруг начал приезжать по понедельникам с мешками из „Защиты животных“ и с той поры появляется все раньше и раньше. Приезжает, делает свое дело, уезжает; он не стал частью общества, ядром которого, несмотря на проволочную ограду, запираемую на висячий замок калитку в ней и предупредительную надпись на трех языках, является мусоросжигатель.

Что касается изгороди, то она давно издырявилась, на калитку же и на надпись никто больше не обращает внимания. Ко времени, когда утром приходят с первыми мешками больничных отбросов санитары, тут уже полным-полно женщин и детей, ждущих возможности порыться в мешках в поисках шприцев, булавок, бинтов, которые еще можно отстирать, — всего, на что имеется спрос, но главным образом таблеток, которые затем продаются в лавчонках muti[38], а то и прямо на улицах. Тут же и бродяги — днем они слоняются по территории больницы, а ночью спят у стены мусоросжигателя, а то и в его зеве,

[38] notes: 38

Южноафриканское слово, происходящее от зулусского „umuthi“ — „дерево, растение, лекарство“ — и обозначающее снадобье, целительный наговор или талисман.

где потеплее.

Это не то общество, в которое ему хочется влиться. Однако когда он появляется здесь, и они уже здесь; и если то, что он привозит в виде дополнения к отбросам, их не интересует, так это лишь потому, что ни одна из частей мертвой собаки не годится ни в пищу, ни на продажу.

Ради чего он взялся за эту работу? Чтобы облегчить бремя Бев Шоу? Для этого было бы достаточно сваливать мешки в кучу и уезжать. Ради собак? Но собаки мертвы, да и что, собственно, знают собаки о чести и бесчестье? Выходит, ради себя. Ради своих представлений о мире, мире, в котором люди не лупят лопатами по трупам, дабы придать им более удобную для ликвидации форму.

Собак приводят в клинику, потому что они не нужны: „потому что уж больно они расплодились“. Тогда-то он и становится частью их жизней. Он, может быть, не спаситель их и не считает, что они так уж расплодились, но он готов позаботиться о них, когда сами они не способны, совершенно не способны о себе позаботиться, когда даже Бев Шоу умывает, в том, что касается их, руки. „Собачник“ — так однажды назвал себя

Петрас: собачий гробовщик, их психопомпос[39], хариджан — неприкасаемый.

Удивительно, что такой эгоист, как он, посвятил себя служению мертвым собакам. Должны же быть иные, более плодотворные способы отдачи себя миру или представлению о мире. Можно, к примеру, подольше работать в клинике. Можно попытаться убедить роющихся в отбросах детей не травиться черт знает чем. Даже если бы он с большим усердием работал по ночам над байроновским либретто, даже это на худой конец можно было бы счесть служением человечеству.

Но делами такого рода — защитой животных, социальной реабилитацией, Байроном, в конце-то концов, — могут заниматься и другие. Он оберегает честь трупов, потому что другого дурака для этого занятия не нашлось. Вот кем он в итоге становится: дурачком, чокнутым, погрязшим в своих заблуждениях.

---

[39] notes: 39

Греческое слово, означающее „проводник душ“; прозвище Гермеса, уводившего души умерших в подземный мир.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Воскресная работа в клинике завершена. Комби набит своим мертвым грузом.

Выполняя последнее неприятное дело, он моет пол хирургической.

— Давайте я этим займусь, — говорит, входя со двора, Бев Шоу. — А то вас дома заждутся.

— Я не спешу.

— И все же вы, должно быть, привыкли к жизни совсем иного рода.

— Иного рода? Вот уж не знал, что жизнь распределяется по родам.

— Я хотела сказать, здешнее существование должно казаться вам совсем невеселым. Вы, наверное, скучаете по людям вашего круга. По вашим подружкам.

— По подружкам? Люси ведь наверняка рассказала вам, почему я уехал из Кейптауна. Не очень-то мне повезло там с подружкой.

— Не будьте к ней так суровы.

— К Люси? У меня пороху не хватит быть суровым к Люси.

— Не к Люси — к той девушке из Кейптауна.

Люси говорила мне, что у вас были большие неприятности из-за одной кейптаунской девушки.

— Что ж, девушка имела к ним отношение. Но в данном случае источником неприятностей был я. И девушке той причинил по меньшей мере столько же неприятностей, сколько она мне.

— Люси говорила, что вам пришлось уйти из университета. Наверное, это было нелегко. Вы сожалеете об этом?

И охота же ей лезть не в свое дело! Удивительно, как возбуждает женщин один лишь запах скандала. Может быть, эта маленькая, невзрачная особа считает, что он не способен повергнуть ее в ужас? Или оказаться повергнутой в ужас — это еще одна из обязанностей, которую она полагает необходимым исполнять, — на манер человека, навлекающего на себя оскорбления с тем, чтобы уменьшить установленную для мира квоту оных?

— Сожалею ли я? Не знаю. Происшедшее в Кейптауне в конечном итоге привело меня сюда. Не могу сказать, что я здесь несчастен.

— А тогда? Тогда сожалели?

— Тогда? Вы хотите сказать, в самый разгар событий? Разумеется, нет. В разгар событий со-

мнений не возникает. Да вы наверняка и сами должны это знать.

Бев краснеет. Давненько не видел он, чтобы женщина в летах так краснела. До корней волос.

— И все же Грейамстаун должен казаться вам очень тихим, — лепечет она. — В сравнении.

— Я ничего против Грейамстауна не имею. По крайней мере, здесь меня не одолевают соблазны. К тому же я живу не в Грейамстауне. Я живу на ферме дочери.

„Не одолевают соблазны“. Говорить такое женщине, пусть даже невзрачной, жестоко. Да и не всем она кажется невзрачной. Было, надо полагать, время, когда Билл Шоу что-то такое разглядел в юной Бев. А возможно, и не один только Билл.

Он пытается вообразить, какой была Бев двадцатью годами раньше, когда ее лицо, чуть вздернутое кверху на коротенькой шее, выглядело, надо думать, цветущим, а от веснушчатой кожи веяло здоровьем и домашним уютом. Повинуясь внезапному порыву, он протягивает руку и проводит пальцем по губам Бев.

Бев опускает взгляд, но не отстраняется. Напротив, Бев, отвечая на ласку, скользит губами по его руке — можно даже сказать, целует ее, — продол-

жая при этом заливаться краской.

Вот и все, что происходит. Дальше этого они не идут. Не произнеся больше ни слова, он поворачивается и покидает клинику, слыша, как Бев щелкает за его спиной выключателями.

Она звонит на следующий день после полудня.

— Мы могли бы встретиться в клинике, в четыре, — говорит она. Это не вопрос — извещение, сделанное высоким, напряженным голосом.

Он едва не спрашивает: „Зачем?“, однако ему хватает здравомыслия воздержаться. Тем не менее он удивлен. Он готов поручиться, что прежде Бев по этой дорожке не ходила. Должно быть, так в невинности своей она и представляет себе нарушение супружеской верности: женщина звонит домогающемуся ее поклоннику, извещая о своей готовности.

По понедельникам клиника закрыта. Он входит вовнутрь, запирает за собой дверь. Бев в хирургической, стоит спиной к нему. Он обнимает ее, она утыкается ухом в его подбородок, губы его трутся о плотные завитки ее волос.

— Там есть одеяла, — говорит она. — В шкафчике. На нижней полке.

Два одеяла, розовое и серое, тайком принесенные из дому женщиной, которая, верно, весь

последний час мылась, и пудрилась, и умащивалась, приготовляясь; которая, почем знать, пудрилась и умащивалась каждое воскресенье и хранила в шкафчике одеяла — на всякий случай. Которая думает, что поскольку он приехал из большого города, поскольку с именем его связан скандал, значит, он спал со множеством женщин и ожидает, что любая встречная охотно ляжет с ним.

Выбор невелик — операционный стол либо пол. Он расстилает одеяла на полу, серое внизу, розовое сверху. Погасив свет, он выходит из комнаты, проверяет, заперта ли задняя дверь, ждет. Он слышит шелест одежды, Бев раздевается. Бев. Вот уж не думал, что будет с ней спать.

Она лежит под одеялом, выставив наружу одну только голову. Даже скудость освещения не сообщает этому зрелищу никакого обаяния. Стянув трусы, он забирается к Бев, проводит руками по ее телу. Груди отдельного разговора не заслуживают. Крепко сколоченная, почти лишенная талии, похожая на приземистый бочонок.

Она сжимает его ладонь, что-то всовывает в нее. Презерватив. Все продумано загодя, от начала до конца.

Относительно их совокупления он может, по

крайней мере, сказать, что долг свой он выполнил. Без упоения, но и без отвращения. Так что под конец Бев Шоу могла бы поздравить себя. Все ею намеченное сбылось. Ему, Дэвиду Лури, была оказана помощь, какую мужчина получает от женщины; ее подруга, Люси Лури, получила помощь по части трудного для нее гостя.

Упаси тебя бог забыть этот день, лежа рядом с Бев, говорит он себе, когда все кончается. Вот к чему я пришел от сладкого юного тела Мелани Исаакс. Вот к чему мне следует привыкать, к этому, если не к худшему.

— Уже поздно, — говорит Бев. — Мне пора.

Он отбрасывает одеяло и встает, не пытаясь укрыться от ее взгляда. Пусть разглядит своего Ромео как следует, думает он, с его обвислыми плечами и худосочными ногами. Действительно поздно. Последний багровый отблеск лежит на горизонте, над ним стынет луна, дым висит в воздухе, из-за пустыря доносится со стороны ближних хибар бубнение голосов. У двери Бев напоследок прижимается к нему, кладет ему голову на грудь. Он не противится, как не противился ничему из того, что она считала необходимым сделать. Мысли его обращаются к Эмме Бовари перед зеркалом после первого ее большого дня.

„У меня есть любовник! У меня есть любовник!“ — безмолвно поет Эмма. Что ж, пускай бедная Бев придет домой и тоже что-нибудь споет. И хватит называть ее бедной Бев. Если она бедная, то он — полный банкрот.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Петрас занял бог весть у кого трактор и прицепил к нему старый плуг, который валялся, ржавея, за конюшней еще до того, как на ферме появилась Люси. И за несколько часов вспахал всю землю. Все это быстро, расторопно, как будто дело происходило совсем и не в Африке. В прежние времена, то есть, скажем, лет десять назад, он провозился бы с ручным плугом и волами несколько дней.

Что может противопоставить Люси этому новому Петрасу? Петрас появился здесь как землекоп, возчик, поливальщик. Теперь он слишком занят, чтобы исполнять эти работы. Где, интересно, отыщет Люси человека, который станет копать, возить, поливать? Если бы речь шла о шахматной партии, он сказал бы, что Люси переиграли на всех флангах. Будь у нее хоть капля здравого смысла, она бы сдалась: обратилась в Земельный банк, договорилась об условиях, передала ферму Петрасу и вернулась к цивилизации. Она могла бы открыть в пригороде гостиницу для собак; могла бы заняться кошками. Могла бы даже вер-

нуться к тому, чем занималась с друзьями, когда все они были хиппи: ткачеством, гончарным делом, плетением корзин с туземными орнаментами, продажей бус туристам.

Крушение планов. Нетрудно вообразить, какой станет Люси лет через десять: растолстевшей, трапезничающей в одиночестве женщиной в давно вышедшей из моды одежде, с проложенными печалью бороздами на лице. Та еще жизнь. Но все лучше, чем проводить дни в страхе перед новым нападением, когда и собаки не смогут тебя защитить, и по телефону никто тебе не ответит.

Он идет к Петрасу, на место, выбранное тем для нового дома, — на пологий склон, обращенный к ферме Люси. Здесь уже поработал геодезист, разметочные колышки торчат из земли.

— Вы ведь не сами его будете строить, верно? — спрашивает он.

Петрас смешливо фыркает.

— Нет, строительство, оно мастера требует. Кладка кирпича, штукатурные работы — для этого необходимо умение. Я уж лучше канавы буду копать. С этим-то я управлюсь. Для такой работы особых навыков не нужно, с ней и мальчишка сладит. Рыть землю — самое занятие для мальчишки.

Последнее слово Петрас произносит с неподдельным удовольствием. Был когда-то и он мальчишкой, не то что теперь. Теперь он только и может что время от времени прикидываться мальчишкой, как Мария Антуанетта могла бы прикидываться молочницей.

Он переходит к сути дела:

— Если мы с Люси вернемся в Кейптаун, готовы ли вы заменить ее на ферме? Мы можем платить вам жалованье, или вы будете получать проценты. Проценты с доходов.

— Я должен приглядывать за фермой Люси? — говорит Петрас. — Должен стать *управляющим фермой?*

Он произносит эти слова так, будто никогда их прежде не слышал, будто они вдруг выскочили неведомо откуда, точно кролик из шляпы.

— Да, если хотите, мы можем назначить вас управляющим фермой.

— А рано или поздно вернется Люси.

— Вернется, я уверен. Она очень привязана к ферме. Не хочет с ней расставаться. Но в последнее время ей пришлось многое пережить. Люси нужна передышка. Своего рода отпуск.

— За морем, — говорит Петрас и улыбается, показывая желтые от курения зубы.

— Да, если захочет, то и за морем. — Его раздражает манера Петраса оставлять слова повисшими в воздухе. Было время, когда ему казалось, что он и Петрас могут подружиться. Ныне Петрас ему противен. Разговаривать с Петрасом все равно что боксировать с полным песка мешком. — Не думаю, что кто-то из нас вправе осудить Люси, если она вдруг решит отдохнуть, — говорит он. — Вы или я.

— Как долго мне придется работать управляющим фермой?

— Я пока не знаю, Петрас. Я не говорил об этом с Люси, я просто выясняю возможности, пытаюсь понять, согласитесь ли вы.

— И мне придется заниматься всем — кормить собак, выращивать овощи, ездить на рынок…

— Петрас, нет необходимости составлять сейчас список ваших обязанностей. Собак не будет. Я просто задаю вам общий вопрос: если Люси на время уедет, готовы вы присмотреть за фермой?

— Как же мне ездить на рынок, если не будет комби?

— Это детали. Детали мы можем обговорить потом. Мне нужен общий ответ, да или нет.

Петрас покачивает головой.

— Слишком много работы, слишком много, —

говорит он.

Нежданно-негаданно ему звонят из полиции — из Порт-Элизабет, сержант-детектив Эстерхьюз. Нашлась его машина. Она стоит во дворе нью-брай-тонского участка, ее можно опознать и предъявить на нее права. Кроме того, арестованы двое мужчин.

— Прекрасно, — говорит он. — Я уж почти и надеяться перестал.

— Ну что вы, сэр, любое дело остается открытым в течение двух лет.

— В каком состоянии машина? Ездить на ней можно?

— Да, сэр, вы сможете на ней уехать.

В необычайно приподнятом настроении он едет с Люси в Порт-Элизабет, а оттуда в Нью-Брайтон, где им показывают дорогу на Ван-Девентер-стрит, к приземистому, похожему на крепость зданию полицейского участка, окруженному двухметровым забором с острой проволокой наверху Бросающийся в глаза знак запрещает оставлять автомобили около участка. Они паркуются на улице, довольно далеко от участка.

— Я подожду в машине, — говорит Люси.

— Ты уверена?

— Мне здесь не нравится. Я подожду.

Он называет себя дежурному, получает указания о том, как, одолев лабиринт коридоров, добраться до отдела автомобильных краж. Эстерхьюз, низкорослый полный блондин, порывшись в папках, ведет его во двор, где бампер к бамперу стоит множество машин. Они идут вдоль рядов автомобилей, вперед, потом назад.

— Где вы ее нашли? — спрашивает он у Эстерхьюза.

— Здесь, в Нью-Брайтоне. Вам повезло. Обычно угонщики разбирают старые „короллы“ на запасные части.

— Вы говорили, что арестовали кого-то.

— Двоих. Взяли по наводке. Нашли целый дом, набитый краденым. Телевизоры, видео, холодильники — все что хотите.

— Где сейчас эти люди?

— Выпущены под залог.

— Не разумнее ли было, прежде чем их отпускать, позвонить мне, чтобы я их опознал? Вы выпустили их под залог, и теперь они просто-напросто исчезнут. Вы же это знаете.

Натянутое молчание.

Они останавливаются перед белой „короллой“.

— Это не моя машина, — говорит он. — У моей кейптаунский номер, который значится в деле, —

он тыкает пальцем в номер, напечатанный на взятом из папки листке, — С А 507644.

— Номер они новый напыляют. Или ставят другой. А ваш — еще на какую-нибудь машину.

— Пусть так, но эта машина не моя. Вы можете ее открыть?

Детектив открывает машину. Внутри пахнет влажными газетами и жареной курицей.

— У меня не было акустической системы, — говорит он. — Машина не моя. Вы уверены, что где-нибудь здесь, на стоянке, нет моей машины?

Они повторно обходят стоянку. Его машины здесь нет. Эстерхьюз чешет в затылке.

— Я разберусь, в чем тут дело, — говорит он. — Должно быть, какая-то путаница. Оставьте мне ваш номер, я перезвоню.

Люси сидит, закрыв глаза, за рулем комби. Он стукает в стекло, Люси отпирает дверцу.

— Ошибка, — говорит он, забираясь в машину — „Короллу“ они нашли, да только не мою.

— А мужчин ты видел?

— Мужчин?

— Ты сказал, арестованы двое мужчин.

— Их уже выпустили под залог. Так или иначе, машина не моя, стало быть, те, кого арестовали, моей машины не крали.

Долгое молчание.

— По-твоему, одно из другого следует логически? — спрашивает Люси.

Она включает двигатель, резко выворачивает руль.

— Не знал, что ты так жаждешь их поимки, — говорит он. Он слышит в своем голосе раздражение, но не может справиться с ним. — Если их схватят, будет суд и все, что из него проистекает. Тебе придется давать показания. Ты к этому готова?

Люси глушит двигатель. Лицо у нее замершее, она борется со слезами.

— Как бы там ни было, их уже и след простыл. Нашим друзьям вовсе не улыбается, чтобы их поймали, и уж тем более чтобы их поймала полиция штата, в котором они живут. Так что забудем об этом.

Он пытается взять себя в руки. Он становится придирой, занудой, но ничего не может с этим поделать.

— Люси, тебе самое время на что-то решиться. Либо ты продолжаешь жить в доме, полном отвратительных воспоминаний, и растравлять себе душу мыслями о происшедшем, либо оставляешь этот эпизод в прошлом и начинаешь с чистой страницы где-нибудь в другом месте.

Такова альтернатива, какой я ее вижу. Я знаю, ты предпочла бы остаться здесь, но не стоит ли тебе хотя бы обдумать иную возможность? Разве мы не способны обсудить ее как разумные люди?

Люси качает головой.

— Я больше не могу разговаривать, Дэвид, просто не могу, — отвечает она, тихо, торопливо, словно боясь, что слова иссякнут. — Я знаю, я выражаюсь путано. Если бы только я могла все объяснить. Но я не могу. Не могу из-за того, кто ты и кто я. Прости. Мне жаль, что так получилось с твоей машиной. Жаль, что тебя ожидало разочарование.

Люси опускает голову на руки; плечи ее вздрагивают — она дает волю слезам.

Его вновь омывает волна чувств: апатии, безразличия, но также и легкости, как будто он выеден изнутри и от сердца его осталась только прохудившаяся оболочка. Как, думает он, может человек в таком состоянии найти слова, найти музыку, которая воскресит мертвых?

Женщина в шлепанцах и драной одежде, сидящая на тротуаре ярдах в пяти от них, пронизывает их злобным взглядом. Словно оберегая Люси, он кладет руку ей на плечо. „Моя дочь, — думает он, — любимая дочь. Которую мне выпало

направлять и наставлять. Которая в скором времени станет направлять меня“.

Способна ли *она* учуять его мысли?

Вести машину приходится ему. На полпути к дому Люси, к его удивлению, сама заговаривает с ним.

— Все выглядело таким личным, — говорит она. — Делалось с такой личной ненавистью. Вот что ошеломило меня больше всего. Остального можно было… ожидать. Но почему они меня так ненавидели? Я и не встречала их никогда.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует, пока.

— Это история говорила через них, — произносит он наконец. — История зла. Постарайся так думать об этом, если это способно помочь. Их чувства могли показаться личными, но такими не были. Наследие предков, не более того.

— От этого не легче. Потрясение попросту не желает никуда уходить. Я имею в виду — потрясение от того, что тебя ненавидят. В тот самый миг.

„В тот самый миг“. Говорит ли она о том, о чем он думает, что она говорит?

— Ты все еще боишься? — спрашивает он.

— Да.

— Боишься, что они вернутся?

— Да.

— И думаешь, что, если ты не выдвинешь против них обвинение, они не вернутся? Ты в этом себя уверила?

— Нет.

— Тогда что?

Она молчит.

— Люси, все так просто. Закрой псарню. Немедля. Запри дом, заплати за его охрану Петрасу. Передохни полгода, год, пока дела в стране не пойдут на лад. Поезжай за море. В Голландию. Я дам денег. А когда вернешься, ты сможешь трезво оценить свое положение и все начать сначала.

— Если я уеду сейчас, Дэвид, я не вернусь. Спасибо за предложение, но оно не годится. Ты не можешь предложить ничего такого, чего сама я не обдумывала бы по сто раз.

— Тогда что ты намерена делать?

— Не знаю. Но какое бы решение я ни приняла, я хочу принять его сама, без понукания. Есть вещи, которых ты просто не понимаешь.

— Чего я не понимаю?

— Для начала — ты не понимаешь того, что произошло со мной в тот день. Тебя заклинило на моем благополучии, я благодарна тебе за это, ты думаешь, что все понял, но на самом-то деле

— нет. Потому что понять ты не можешь.

Он тормозит, съезжает на обочину.

— Нет, — говорит Люси, — не здесь. Это плохое место, тут слишком опасно останавливаться.

Он набирает скорость.

— Напротив, — говорит он, — я понимаю все слишком хорошо. Я произнесу сейчас слово, которого мы до сих пор избегали. Тебя изнасиловали. Несколько раз. Трое мужчин.

— И?

— Ты боялась за свою жизнь. Боялась, что, попользовавшись тобой, они тебя убьют. Избавятся от тебя. Потому что ты ничего для них не значила.

— И? — голос ее обращается в шепот.

— А я ничего не сделал. Не спас тебя. — Это уже его исповедальное признание.

Она нетерпеливо отмахивается.

— Не вини себя, Дэвид. Как можно было ожидать, что ты меня спасешь? Появись они неделей раньше, я была бы в доме одна. Но ты прав, я ничего для них не значила, ничего. Пауза.

— Думаю, они делали это и прежде, — снова заговаривает Люси, и на этот раз голос ее звучит тверже. — Во всяком случае, те двое, что постарше. Думаю, они прежде всего и главным образом

насильники. А воровство — это так, случайность. Побочный род деятельности. Мне кажется, их специальность — изнасилования.

— И ты думаешь, что они вернутся?

— Видимо, я живу на их территории. Они пометили меня. И возвратятся назад.

— Тогда ты не можешь здесь оставаться.

— Почему же?

— Потому что тем самым ты словно бы приглашаешь их к себе.

Прежде чем ответить, она надолго задумывается.

— Но разве на все это нельзя посмотреть иначе, Дэвид? Что, если… что, если такова цена, которую необходимо заплатить, чтобы остаться здесь? Возможно, они именно так на это и смотрят; возможно, и мне следует так на это смотреть. Они видят во мне владелицу некой собственности. А в себе — сборщиков податей или долгов. Почему мне должны позволить жить здесь, ничего не заплатив? Может быть, так они себе все и объясняют.

— Уверен, себе они все могут объяснить. Сочинять разные россказни в свое оправдание — более чем в их интересах. Но доверься собственным чувствам. Ты сказала, что ощутила в них одну

только ненависть.

— Ненависть… Знаешь, Дэвид, когда дело доходит до мужчин и секса, меня уже ничем не удивишь. Может быть, на мужчин ненависть к женщинам, с которыми они спят, действует как добавочное возбуждающее средство. Ты мужчина, ты должен знать. Когда ты овладеваешь незнакомой женщиной — когда хватаешь ее, не даешь ей вырваться, всей тяжестью подминаешь ее под себя, — разве это отчасти не смахивает на убийство? Вонзить в нее нож и уйти, оставив за собой окровавленное тело, — разве это не ощущается как убийство, безнаказанное убийство?

„Ты мужчина, ты должен знать“ — можно ли говорить такое отцу? На одной ли они с ней стороне?

— Возможно, — говорит он. — Иногда. Некоторыми.

И следом быстро, не подумав:

— Ты чувствовала это с ними обоими? Что словно бы борешься со смертью?

— Они распаляли один другого. Вероятно, потому и делали это вместе. Как псы в своре.

— А третий, мальчишка?

— Его привели поучиться.

Они минуют указатель „Саговые пальмы“. Вре-

мя почти вышло.

— Будь они белыми, ты бы говорила о них иначе, — произносит он. — Будь они белыми громилами, скажем, из Деспатча.

— Ты полагаешь?

— Полагаю. Я тебя не виню, дело не в этом. Но в рассказанном тобой присутствует нечто новое. Порабощение. Они хотели обратить тебя в рабство.

— Нет, не порабощение. Усмирение. Подавление.

Он качает головой.

— Это уже слишком, Люси. Продай ферму. Продай ее Петрасу и уезжай.

— Нет.

На том разговор и заканчивается. Но эхо слов Люси продолжает звучать в его ушах. „Окровавленное тело“ — что она хотела этим сказать? Или он все же не зря видел во сне пропитанную кровью постель, ванну в потеках крови?

„Их специальность — изнасилования“. Он думает о трех визитерах, уезжающих в не старой еще „тойоте“; на заднем сиденье навалены домашние вещи; их пенисы, их орудия, теплые и удоволенные, свернулись между их ног — мурлыкая, вот слово, которое приходит ему в голову. У

них достаточно причин гордиться проделанной за день работой; служение своему призванию наполняет их счастьем.

Он помнит, как ребенком застрял на обнаруженном в газетном сообщении слове „изнасилование“, пытаясь понять его точное значение, гадая, что делает буква „с“, обычно столь мягкая, в середине слова, внушающего такой страх, что никто не решается произнести его вслух. В библиотеке он видел в одном альбоме картину „Изнасилование сабинянок“[40]: верховые в легких римских доспехах, женщины в покрывалах, воздевающие руки, стенающие. Какое отношение имели эти театральные позы к подозреваемой им сущности изнасилования — к мужчине, который, лежа на женщине, входит в нее?

Он размышляет о Байроне. Среди легионов графинь и горничных, в которых входил Байрон, несомненно имелись и такие, что называли это изнасилованием. Но ни одна из них, уж верно, не боялась остаться после соития с перерезанным горлом. Ему в его положении и Люси в ее, Байрон, безусловно, представляется старомодным.

---

[40] notes: 40

У нас за этим сюжетом закрепилось название „Похищение сабинянок“ (английский глагол „to rape“ имеет значения „насиловать“ и „похищать“).

Люси напутана, напугана до смерти. Голос у нее сдавленный, дышит она с трудом, руки и ноги немеют. „Этого не может быть, — говорит она себе, пока двое мужчин силой принуждают ее лечь, — это лишь сон, ночной кошмар“. Мужчины меж тем упиваются ее страхом, наслаждаются им, делают все, что в их силах, чтобы запугать ее, умножить ее ужас до последних пределов. „Зови своих псов! — говорят они. — Ну давай, позови их! Что, псов нету? Ну так мы тебе покажем, что такое псы!“

„Вы не понимаете, вас же там не было“, — сказала Бев Шоу. Ладно, она ошиблась. Но в конечном счете Люси права; он понимает, он может, полностью сосредоточившись, отказавшись от себя, проникнуть туда, стать теми людьми, вселиться в них, наполнить их своим призраком. Вопрос только в том, хватит ли ему воображения, чтобы стать женщиной.

В уединении своей комнаты он пишет дочери письмо:

„Дорогая Люси, со всей любовью, какая есть в мире, я должен сказать тебе следующее. Ты стоишь на пороге опасной ошибки. Ты хочешь унизиться перед историей. Но путь, на который ты ступила, неверен. Он лишит тебя какой бы

то ни было чести; ты не сможешь жить в мире с собой. Умоляю, прислушайся к тому, что я говорю. Твой отец“.

Час спустя под его дверь подсовывается конверт с письмом. „Дорогой Дэвид, ты меня так и не услышал. Я не тот человек, которого ты знаешь. Я человек конченый и не знаю пока, что способно вернуть меня к жизни. Знаю только, что уехать отсюда я не могу.

Ты этого не понимаешь, а я не вижу, что еще можно сделать, чтобы заставить тебя понять. Все выглядит так, словно ты нарочно забился в угол, в который не заглядывает солнце. Ты кажешься мне одной из трех обезьян, той, что прижала лапы к глазам.

Да, путь, на который я ступила, возможно, неверен. Но если я теперь покину ферму, я уеду отсюда потерпевшей поражение и буду чувствовать вкус поражения всю жизнь.

Я не могу навек остаться ребенком. И ты не можешь вовек оставаться отцом. Я знаю, ты желаешь мне добра, но ты — не тот наставник, который мне нужен, во всяком случае сейчас. Твоя Люси“.

Вот и вся их переписка — и вот каково последнее слово Люси.

На сегодня с убийством собак покончено, черные мешки грудой свалены у двери, в каждом сокрыты душа и тело. Он и Бев Шоу лежат обнявшись на полу хирургической. Через полчаса Бев предстоит вернуться к ее Биллу, а ему — начать погрузку мешков.

— Ты никогда не рассказывал мне о твоей первой жене, — говорит Бев. — Да и Люси ничего о ней не говорит.

— Мать Люси была голландкой. Уж это-то она, наверное, тебе говорила. Эвелина. Эви. После развода она уехала в Голландию. Потом снова вышла замуж. Люси не ужилась с приемным отцом. И попросила, чтобы ее отправили в Южную Африку.

— То есть выбрала тебя.

— В каком-то смысле. Ну и кроме того — определенную среду обитания, определенные горизонты. А теперь я пытаюсь заставить ее вернуться назад, хотя бы на время. У нее есть в Голландии семья, есть друзья. Голландия, быть может, и не лучшая для жизни страна, но она, по крайности, не награждает человека ночными кошмарами.

— И?

Он пожимает плечами.

— Люси сейчас не склонна следовать моим

советам. Говорит, что я не тот наставник, какой ей нужен.

— Но ты ведь преподавал в университете.

— Это не более чем случайность. Преподавание никогда не было моим призванием. И уж определенно я не испытывал потребности учить кого бы то ни было жить. Я из тех, кого принято называть учеными. Писал книги о давно умерших людях. Вот к этому душа у меня лежала. А преподавал я единственно ради заработка.

Она ждет большего, но у него нет настроения продолжать.

Солнце заходит, становится холодно. Сегодня они не совокуплялись; в сущности, они перестали прикидываться, что встречаются ради этого.

В голове у него — Байрон, одиноко стоящий на сцене, набирающий воздуха в грудь, чтобы запеть. Ему предстоит вот-вот отправиться в Грецию. В тридцать пять лет он начал понимать, что жизнь бесценна.

„Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt“[41], — такими будут слова Байрона, теперь он в этом уверен. Что касается музыки, она маячит где-то вдали, но близко пока не подхо-

[41] notes: 41

„Слезы сочувствия есть, и земное трогает душу“ цитата из „Энеиды“ Вергилия (Пер. с лат. В. Брюсова).

дит.

— Тебе не о чем тревожиться, — говорит Беев Шоу. Голова Бев прижата к его груди; вероятно, она слышит, как бьется его сердце, в такт биениям коего шествует гекзаметр. — Мы с Биллом присмотрим за ней. Станем почаще ездить на ферму. Ну и Петрас. Петрас не будет спускать с нее глаз.

— Петрас с его отеческой заботливостью?

— Да.

— Люси говорит, что я не могу вовек оставаться отцом. А я и представить себе не способен в этой жизни, что я не отец Люси.

Бев зарывается пальцами в щетку его волос.

— Все будет хорошо, — шепчет она. — Вот увидишь.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Дом воздвигли при общей застройке этих мест, и лет пятнадцать-двадцать назад, тогда еще новый, он выглядел довольно уныло, но с тех пор поросшие травой дорожки, деревья и ползучие растения, раскинувшие побеги по бетонным стенам, значительно улучшили его облик. У номера восемь по Растхолм-кресент расписная садовая калитка с переговорным устройством.

Он нажимает кнопку. Юный голос произносит:

— Алло?

— Я ищу мистера Исаакса. Моя фамилия Лури.

— Он еще не вернулся.

— Когда вы его ожидаете?

— Минутку.

Жужжание, щелчок замка, он толкает, открывая, калитку. Дорожка ведет к передней двери, у которой стоит, поджидая его, тоненькая девушка. На ней школьная форма: темно-синяя блуза, белые гольфы, рубашка с открытым воротом. У нее глаза Мелани, широкие скулы Мелани, темные волосы Мелани; если она чем-то и отличается от сестры, то большей красотой. Младшая сестра

Мелани, о которой он уже слышал, вот только имени никак припомнить не может.

— Добрый день. Когда вернется отец?

— Занятия в школе кончаются в три, но он обычно задерживается. Да все в порядке, вы заходите.

Девушка, удерживая дверь открытой, вжимается в стену, когда он проходит мимо. Она жует хлеб, изящно держа ломоть двумя пальцами. Крошки на верхней губе. Его подмывает протянуть руку, стряхнуть их, и в тот же миг горячей волной накатывает воспоминание о ее сестре. „Господи, спаси и сохрани, — думает он, — что я здесь делаю?“

— Хотите, присядьте.

Он садится. Мерцает мебель, в комнате царит почти гнетущий порядок.

— Как ваше имя? — спрашивает он.

— Дезире.

Дезире, теперь он вспомнил. Сначала родилась Мелани, темная, потом Дезире, желанная. Наградить ребенка таким именем — значит как пить дать ввести богов в искушение!

— Меня зовут Дэвид Лури. — Он вглядывается в нее, но никаких признаков узнавания не замечает — Я из Кейптауна.

— У меня сестра в Кейптауне. Она студентка.

Он кивает. Он не говорит: я знаю вашу сестру, хорошо знаю. Но думает: плод с того же древа, вероятно схожий с первым до самых интимных подробностей. Но есть и отличия: по-разному пульсирует кровь, различно выказываются потребности страсти. Обе в одной постели — вот опыт, достойный короля.

Он вздрагивает, смотрит на часы.

— Знаете что, Дезире? Я, пожалуй, попробую поймать вашего отца в школе, только вы мне скажите, как ее найти.

Школа составляет часть жилого квартала: низкое, облицованное кирпичом здание со стальными оконными рамами и асбестовой крышей, стоящее посреди четырехугольного, обнесенного колючей проволокой двора. „Ф. С. Мараис“ — гласит надпись на одной из приворотных колонн; „Средняя школа“ — значится на другой.

Двор пуст. Побродив немного, он натыкается на табличку „Канцелярия“. В канцелярии сидит, полируя ногти, немолодая пухлая секретарша.

— Я ищу мистера Исаакса, — говорит он.

— Мистер Исаакс! — зовет секретарша. — К вам

посетитель! — И говорит ему: — Да вы входите, входите.

Сидящий за столом Исаакс начинает было привставать, замирает, недоуменно глядит на него.

— Вы меня не помните? Дэвид Лури из Кейптауна.

— О! — произносит Исаакс и садится. На нем все тот же великоватый ему костюм: шея тонет в вороте пиджака, из которого Исаакс торчит, будто остроклювая птица из мешка. Окна закрыты, пахнет застоявшимся табачным дымом.

— Если вы не хотите меня видеть, я сразу уйду, — говорит он.

— Нет, — откликается Исаакс. — Присаживайтесь. Я тут посещаемость проверяю. Вы не против, если я сначала закончу?

— Пожалуйста.

На столе фотография в рамке. Оттуда, где он сидит, не видно, кто на ней изображен, но он знает и так: зеницы очей мистера Исаакса, Мелани и Дезире, и женщина, которая выносила их под сердцем.

— Итак, — произносит, закрывая журнал, мистер Исаакс. — Чему обязан удовольствием?

Он думал, что будет волноваться, но теперь ощущает полное спокойствие.

— После того как Мелани подала жалобу, — говорит он. — университет провел официальное расследование. В результате я лишился места. Такова моя история, вам она, должно быть, известна.

Никакой реакции, Исаакс продолжает вопрошающе взирать на него.

— С тех пор я не у дел. Сегодня я проезжал через Джордж и подумал, что нужно бы задержаться здесь и поговорить с вами. Я помню, при последней нашей встрече мы были несколько… разгорячены. Но я решил, что все же стоит заглянуть к вам и рассказать, что у меня на душе.

Все сказанное до сих пор — правда. Он действительно хочет рассказать, что у него на душе. Вопрос только в том, что у него там, на душе.

В руках Исаакса дешевая шариковая ручка „бик“. Исаакс поглаживает ее пальцами, переворачивает, поглаживает снова и снова, движениями скорее машинальными, чем нетерпеливыми.

Он продолжает:

— Вы знаете эту историю такой, какой она видится Мелани. Я хотел бы рассказать, если вы согласны меня выслушать, как я ее себе представляю.

Все началось без какого-либо умысла с моей

стороны. Началось как приключение, одно из тех небольших нежданных приключений, которые выпадают мужчинам определенного сорта, выпадали и мне, позволяя держать себя в форме. Простите, что я так это излагаю. Я стараюсь быть искренним.

Однако в случае Мелани произошло нечто непредвиденное. Про себя я называю это огнем. Она зажгла во мне огонь.

Он замолкает. Ручка, продолжает свой танец. „Небольшое нежданное приключение. Мужчины определенного сорта“. А мужчине, сидящему напротив него за столом, приключения выпадали? Чем дольше он глядит на Исаакса, тем сильнее сомневается в этом. Он не удивился бы, узнав, что Исаакс отправляет некую должность в церкви — дьякона или причетника, хотя, собственно, что такое причетник?

— Огонь… Что в нем замечательного? Если он гаснет, вы чиркаете спичкой и разжигаете новый. Так я привык думать. Между тем в давние времена люди поклонялись огню. Они бы крепко подумали, прежде чем позволить пламени умереть — пламени-богу. Такого вот рода пламя и зажгла во мне ваша дочь. Не настолько жаркое, чтобы я в нем сгорел, но настоящее — настоящий

огонь.

Погоревший — горел — сгорел. Ручка замирает.

— Мистер Лури, — говорит с вымученной улыбкой, искривившей его лицо, отец девушки. — Я спрашиваю себя: чего, собственно, вы добиваетесь, придя в мою школу и рассказывая мне истории о…

— Простите, это недопустимо, я понимаю. Но я уже закончил. Это все, что я хотел вам сказать в свое оправдание. Как Мелани?

— У Мелани, раз уж вы спрашиваете, все хорошо. Она звонит нам каждую неделю. Мелани вернулась к учебе, ей дали на это особое разрешение — ну, вы знаете, с учетом всех обстоятельств. В свободное время она продолжает работать в театре, довольно успешно. Так что с Мелани все в порядке. А как с вами? Каковы ваши планы — теперь, когда вы больше не работаете по специальности?

— У меня тоже есть дочь, если вам это интересно. Она владеет фермой; я собираюсь проводить часть времени с ней, помогать по хозяйству. Кроме того, я должен закончить книгу, вернее, нечто вроде книги. Так или иначе, у меня есть чем заняться.

Он умолкает. Исаакс вглядывается в него с поражающим его выражением искренней заботливости.

— Да, — негромко произносит Исаакс, слова слетают с его губ подобно вздохам, — как пали сильные!

Пали? Что ж, падение было, тут не о чем и говорить. Но „сильные“? Применимо ль к нему это слово? Он привык считать себя человеком неприметным и становящимся чем дальше, тем неприметнее. Человеком с обочины истории.

— Возможно, — говорит он, — нам полезно время от времени падать. Пока мы не разбиваемся.

— Хорошо. Хорошо. Хорошо, — говорит Исаакс, все еще не сводя с него сосредоточенного взгляда. Впервые он примечает в лице Исаакса черты Мелани — в форме рта и губ. Повинуясь внезапному порыву, он тянется через стол, чтобы пожать этому человеку руку, но кончает тем, что гладит ее. Прохладная безволосая кожа.

— Мистер Лури, — говорит Исаакс, — есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы мне рассказать, помимо вашей с Мелани истории? Вы упоминали о том, что у вас нечто лежит на душе.

— На душе? Нет. Нет, я заехал в город, чтобы узнать, как Мелани. — Он встает. — Спасибо, что

приняли меня, я вам очень признателен.

Он протягивает руку, на сей раз не испытывая смущения:

— Прощайте.

— Прощайте.

Он уже в дверях — практически в опустевшей к этому времени приемной, — когда Исаакс окликает его:

— Мистер Лури! Минуточку!

Он возвращается.

— Какие у вас планы на вечер?

— На сегодняшний? Я остановился в отеле. У меня нет планов.

— Приходите к нам перекусить. Приходите к обеду.

— Не думаю, что вашей жене это понравится.

— Возможно, нет. Возможно, да. Все равно приходите. Преломите с нами хлеб. Мы садимся за стол в семь. Позвольте я напишу вам адрес.

— В этом нет необходимости. Я уже побывал сегодня у вас, познакомился с вашей дочерью. Она-то меня сюда и направила.

Исаакс и бровью не ведет.

— Хорошо, — говорит он.

Дверь открывает сам Исаакс.

— Прошу, прошу, — говорит Исаакс и проводит

его в гостиную. Никаких признаков ни жены, ни второй дочери.

— Мой вклад, — говорит он, протягивая Исааксу бутылку вина.

Исаакс благодарит, но, похоже, не знает, что ему делать с бутылкой.

— Налить вам немного? Я пойду открою.

Он покидает комнату, из кухни слышится шепот. Исаакс возвращается.

— Штопор куда-то запропастился. Ничего, Дези займет у соседей.

Ясное дело, они трезвенники. Мог бы и догадаться. Маленький мещанский дом со строгими правилами; расчетливость, бережливость. Машина вымыта, лужайка подстрижена, сбережения хранятся в банке. Все посвящено тому, чтобы обеспечить надежное будущее драгоценным дочкам — умнице Мелани с ее театральными устремлениями, красавице Дезире.

Он вспоминает Мелани в первый вечер их близкого знакомства — сидящую рядом с ним на софе, прихлебывающую кофе, в который добавлена маленькая стопочка виски, добавлена в виде — слово приходит к нему против воли — *смазки.* Ее аккуратное маленькое тело; ее волнующий чувства наряд; блестящие от возбуждения глаза.

Девочка, вышедшая из леса, по которому рыщет серый волк.

Входит с бутылкой и штопором красавица Дезире. Направляясь к нему через комнату, она на миг запинается, сознавая, что необходимо как-то поздороваться с гостем.

— Па? — с едва приметным смущением шепчет она, протягивая отцу бутылку.

Так, Дезире уже знает, кто он. Родители разговаривали о нем, возможно, ссорились: нежеланный гость, человек, имя которому „мрак“.

Отец задерживает ее ладонь в своей.

— Дезире, — говорит он, — это мистер Лури.

— Привет, Дезире.

Тряхнув головой, она отбрасывает назад упавшие на лицо волосы. Встречается с ним взглядом, все еще смущенная, но уже обретшая силу под защитой отца.

— Привет, — произносит она, а он думает: „Боже мой, боже мой!“

Что до Дезире, ей не удается утаить от него свои мысли: „Так вот человек, с которым лежала голой моя сестра! Человек, с которым она делала это! Этот старик!“

В доме имеется еще одна маленькая гостиная, соединенная с кухней окошком в стене. Стол

накрыт на четверых — лучшие приборы, свечи.

— Садитесь, садитесь! — говорит Исаакс. Жены по-прежнему не видно. — Извините, я на минутку, — Исаакс скрывается в кухне.

Он остается наедине с сидящей против него Дезире. Девушка склоняет голову, смелость покидает ее.

Наконец они возвращаются, родители. Он встает.

— Вы еще не знакомы с моей женой. Дорин, наш гость, мистер Лури.

— Я благодарен вам за приглашение, миссис Исаакс.

Миссис Исаакс — невысокая женщина, немного раздавшаяся к середине жизни, с кривоватыми ногами, отчего она слегка переваливается на ходу. Но он видит, от кого унаследовали свою внешность сестры. В прежние дни она, надо полагать, была настоящей красавицей.

Лицо ее остается неподвижным, она не встречается с ним взглядом, но все же кивает, почти неприметно. Послушная, хорошая жена и помощница. „И оба плотью единой“. Дочери тоже пойдут в нее?

— Дезире, принеси, пожалуйста, карри, — просит она.

Благодарное дитя выкарабкивается из кресла.

— Мистер Исаакс, я стал причиной размолвки в вашей семье, — говорит он. — Вы очень добры, что пригласили меня, я вам благодарен, но мне лучше уйти.

Исаакс отвечает улыбкой, в которой, к его изумлению, сквозит намек на веселость.

— Сидите, сидите! Все у нас будет отлично! Мы справимся! — Исаакс наклоняется к нему. — Вам следует быть сильным!

Возвращаются с подносами Дезире и ее мать: цыплята в пузырящемся томатном соусе, распространяющем аромат имбиря и тмина, рис, салаты и пикули. Именно та еда, по которой он, живя с Люси, соскучился пуще всего.

Перед ним ставят бутылку с вином и одинокий фужер.

— Я тут единственный, кто пьет? — спрашивает он.

— Прошу вас, — говорит Исаакс. — Не стесняйтесь!

Он наполняет фужер. Сладких вин он не любит и „Поздний урожай“ купил, полагая, что это вино придется им по вкусу. Что ж, тем хуже для него.

Остается вытерпеть молитву. Семья Исааксов берется за руки, ему не остается ничего другого,

как тоже протянуть руки — левую отцу девушки, правую матери.

— Да содеет нас Господь воистину благодарными за то, что мы станем сейчас вкушать, — говорит Исаакс.

— Аминь, — отзываются жена с дочерью; и он, Дэвид Лури, тоже бормочет: „Аминь“ — и выпускает две ладони, отцовскую, прохладную как шелк, и материнскую, маленькую, мясистую, согретую ее трудами.

Миссис Исаакс раскладывает еду.

— Осторожнее, горячо, — говорит она, подавая ему тарелку. Это единственные обращенные ею к нему слова.

За едой он старается вести себя как хороший гость, рассказывает, не позволяя повиснуть молчанию, смешные истории. Он говорит о Люси, о ее псарне, пчелах, садоводческих планах, о своих субботних сидениях на рынке. Рассказ о нападении он смягчает, упоминая только, что у него угнали машину. Рассказывает он и о Лиге защиты животных, но не о своих тайных вечерних свиданиях с Бев Шоу.

История его, состеганная таким манером из отдельных кусков, лишена теней. Сельская жизнь во всей ее идиотической простоте. Как бы он

хотел, чтобы это могло стать правдой! Он устал от теней, от сложностей, от сложных людей. Он любит дочь, но временами желает, чтобы она была более простым существом, простым и понятным. Человек, который ее изнасиловал, главарь банды, как раз таким-то и был. Подобным клинку, рассекающему ветер.

Он вдруг видит себя распяленным на операционном столе. Блещет скальпель, его распарывают от горла до чресел. Бородатый хирург, склонившись над ним, хмурится. „Это еще что? — рычит хирург. И тычет скальпелем в желчный пузырь. — Что это?“ Он отсекает пузырь, отбрасывает его в сторону. И тычет в сердце. „А это?“

— Ваша дочь… она что же, в одиночку управляется с фермой? — спрашивает Исаакс.

— Там есть человек, который ей иногда помогает. Петрас. Африканец.

И он рассказывает о Петрасе, основательном, надежном Петрасе с двумя его женами и скромными амбициями.

Он, оказывается, не так голоден, как полагал. Разговор никнет, однако им удается дотянуть до конца обеда. Дезире извиняется и уходит, у нее еще не сделаны уроки. Миссис Исаакс убирает со стола.

— Мне пора, — говорит он. — Я завтра должен выехать пораньше.

— Постойте, задержитесь ненадолго, — говорит Исаакс.

Они остаются наедине. Он больше не может уклоняться от объяснения.

— Относительно Мелани, — говорит он.

— Да?

— Еще одно слово, последнее. Я верю, что у нас с ней все могло сложиться иначе, несмотря на разницу в возрасте. Но было нечто, чего я не смог ей дать, нечто, — он нащупывает слово, — лирическое. Мне не хватило лиричности. Я слишком умело управляюсь с любовью. Даже сгорая, я не пою, вы понимаете, о чем я? И я прошу прощения за это. Я прошу прощения за то, через что пришлось пройти вашей дочери. У вас чудесная семья. Я извиняюсь за горе, которое причинил вам и миссис Исаакс. Я прошу вас простить меня.

„Чудесная“ — неверное слово. Правильнее — „образцовая“.

— Итак, — говорит Исаакс, — вы извинились. А я уж начал гадать, когда же это случится.

Исаакс задумывается. Он не садится, прохаживается взад-вперед по гостиной.

— Вы просите прощения. Говорите, что вам не хватило лиричности. Если б вам хватило лиричности, мы не попали бы в нынешнее наше положение. Но я говорю себе: мы все, когда нас хватают за руку, просим прощения. Тут мы преисполняемся глубоких сожалений о содеянном. Вопрос же не в том, сожалеем мы или нет. Вопрос в том, какой урок мы извлекли из случившегося. Вопрос в том, что мы станем делать теперь, переполнясь такими сожалениями.

Он раскрывает рот, чтобы ответить, но Исаакс поднимает ладонь.

— Могу я произнести в вашем присутствии слово „Бог“? Вы не из тех, кто выходит из себя, услышав имя Божие? Так вот, вопрос в том, чего, помимо сожалений, хочет от вас Бог? Имеются у вас какие-нибудь соображения на этот счет, мистер Лури?

Мельтешение Исаакса отвлекает его, но он все же старается подбирать слова поточнее:

— В обычной ситуации я сказал бы, что по достижении определенного возраста человек оказывается слишком стар, чтобы извлекать уроки. Ему остается лишь сносить наказание за наказанием. Но, возможно, это не так, не всегда так. Я жду, надеясь понять. Что касается Бога, то

я человек неверующий, поэтому мне приходится переводить ваши слова о Боге и воле Божией на язык моих собственных представлений. В рамках этих представлений я несу наказание за то, что произошло между мной и вашей дочерью. Я погружен в бесчестье, а это состояние, выбраться из которого без посторонней помощи нелегко. Не то чтобы я отвергал наказание. Против него я не возражаю. Нет, я живу с ним день за днем, стараясь принять бесчестье как выпавший мне на долю способ существования. Как по-вашему, достаточно ли Богу того, что я живу в бесчестье, которому не видно конца?

— Не знаю, мистер Лури. В обычной ситуации я сказал бы: не спрашивайте у меня, спрашивайте у Бога. Но поскольку вы не молитесь, то и спросить Его ни о чем не можете. Стало быть, придется Богу отыскивать собственные средства, чтобы пообщаться с вами. Как по-вашему, мистер Лури, почему вы очутились здесь?

Он молчит.

— Ну так я вам скажу. Вы проезжали через Джордж, вам пришло в голову, что в Джордже живет семья вашей студентки, и вы подумали: „Почему бы и нет?“ Вы этого не планировали и все-таки оказались в нашем доме. Вас это должно

было удивить. Не так ли?

— Не совсем. Я не сказал вам всей правды. Я не просто проезжал мимо. Я заехал в Джордж по одной-единственной причине — чтобы поговорить с вами. Я уже довольно давно думал об этом.

— Да, вы говорите, что приехали ради разговора со мной. Но почему со мной? Со мной легко разговаривать, слишком легко. Это известно всем детям моей школы. От Исаакса ничего не стоит отбрехаться, вот как они говорят. — Он вновь улыбается той же кривоватой улыбкой, что и прежде. — Так вы действительно приехали, чтобы поговорить со мной?

Теперь он окончательно понимает: человек этот ему не нравится и его фокусы тоже.

Он встает, неуверенным шагом пересекает пустую гостиную, идет по коридору. За полуприкрытой дверью слышны негромкие голоса. Он распахивает дверь. Сидя на кровати, Дезире с матерью возятся с мотком шерсти. Пораженные его появлением, они замолкают.

С тщательной церемонностью он опускается на колени и лбом касается пола.

„Этого довольно? — думает он. — Сгодится? Если нет, что еще?“

Он отрывает лоб от пола. Женщины так и сидят

замерев. Он встречается взглядом с матерью, затем с дочерью, и поток снова взбухает, поток желания.

Он поднимается на ноги с несколько большим скрипом, чем ему хотелось бы.

— Спокойной ночи, — говорит он. — Спасибо за вашу доброту. Спасибо за угощение.

В одиннадцать вечера в его номере раздается телефонный звонок. Это Исаакс.

— Я звоню, чтобы пожелать вам сил на будущее. — Пауза. — И еще, мистер Лури, у меня есть вопрос, который я так и не успел вам задать. Вы ведь не надеялись, что мы похлопочем за вас, ну, в университете?

— Похлопочете?

— Ну да. Например, чтобы вас восстановили в должности.

— И в голову никогда не приходило. С университетом я покончил.

— Потому что путь, на который вы вступили, избран для вас Богом как испытание. Мы тут вмешиваться не вправе.

— Понятно.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В Кейптаун он въезжает по шоссе N2. Он отсутствовал меньше трех месяцев, и все же за это время лачуги успели перехлестнуть через дорогу и расползтись по пустошам к югу от аэропорта. Потоку машин приходится ждать, пока ребенок с хворостиной перегонит через шоссе отбившуюся от стада корову. Деревня, думает он, неумолимо вторгается в город. Скоро на Рондебош-Коммон снова будет пастись скот; скоро история вновь завершит полный круг.

Ну вот он и дома. Хотя чувства возвращения домой у него не возникает. Ему трудно представить, как он опять заживет на Торранс-роуд, в тени университета, как будет, подобно преступнику, красться по улицам, избегая прежних коллег. Придется продать дом и поселиться в какой-нибудь квартирке подешевле.

В денежных его делах царит хаос. Счета не оплачивались со времени отъезда. Он жил в кредит, и теперь этот кредит может в любой день иссякнуть.

Конец скитаниям. А что наступает, когда кон-

чаются скитания? Он видит себя седоголовым, сутулым, шаркая бредущим к угловому магазину, чтобы купить пол-литра молока и половинку батона; видит себя в заваленной пожелтевшими бумагами комнате тупо сидящим за столом в ожидании, когда померкнет день и можно будет приготовить ужин и лечь спать. Жизнь престарелого ученого, без устремлений, без перспектив — готов ли он к ней?

Он отпирает калитку. Сад зарос, почтовый ящик забит извещениями, рекламными листками. Дом, хоть он по большинству стандартов и надежно защищен от взлома, пропустовал несколько месяцев: слишком долго для надежды на то, что его не посетили незваные гости. И действительно, едва открыв входную дверь и потянув носом воздух, он убеждается — что-то неладно. От волнения начинает болезненно колотиться сердце.

Ни звука. Кто бы ни вторгся в дом, сейчас здесь никого. Но как они проникли внутрь? Переходя на цыпочках из комнаты в комнату, он скоро получает ответ. Прутья решетки одного из выходящих на зады окон выломаны и отогнуты наружу, стекла разбиты, образовавшееся отверстие достаточно велико, чтобы в него смог пролезть ребенок, а то и щуплый мужчина. Пол

устилают нанесенные ветром листья и песок.

Он бродит по дому, составляя список потерь. В спальне все перевернуто вверх дном, стенные шкафы зияют пустотой. Аудиосистема исчезла, пластинки, кассеты и компьютерное оборудование тоже. В кабинете взломаны письменный стол и картотечный шкаф, повсюду рассыпаны бумаги. Кухня обобрана полностью: столовое серебро, посуда, бытовые приборы, те, что поменьше. Исчезло все его вино. Пуст даже буфет, в котором хранились консервы.

Не просто ограбление. Группа вторжения занимает объект, обдирает его дочиста и отходит, нагруженная мешками, ящиками, чемоданами. Трофеи, военные репарации, еще один эпизод в великой кампании перераспределения. Кто сейчас носит его полуботинки? Нашли ли Бетховен с Яначеком новые пристанища или их просто вышвырнули в кучу мусора?

Из ванной комнаты тянет отвратительным запахом. Голубь, залетевший в дом, нашел свой конец в умывальнике. Он осторожно сгребает кучку костей и перьев в пластиковый пакет и туго завязывает его.

Свет отключен, телефон молчит. Если он чего-нибудь не предпримет, придется провести ночь

в темноте. Но он слишком подавлен для каких-либо действий. Провались оно все в тартарары, думает он, опускаясь в кресло и закрывая глаза.

Когда наступают сумерки, он, стряхнув оцепенение, выходит из дому. Загораются первые звезды. Пустыми улицами, парками, напоенными запахами вербены и нарциссов, он идет к университетскому городку. У него еще сохранились ключи от входной двери факультетского корпуса. Самое время для появления призрака: коридоры пустынны. Табличка с его именем с двери кабинета снята. „Д-р С. Отто“ — значится на новой. Из-под двери пробивается слабый свет.

Он стучит. Никакого ответа. Он отпирает дверь и входит.

Комната изменилась. Его картины и книги исчезли, стены голы, если не считать увеличенной до размеров плаката фотокопии с картинки из книги комиксов: Супермен, понуро внимающий укорам Лоис Лэйн[42].

За компьютером сидит в полусвете молодой человек, никогда им прежде не виданный. Молодой человек недовольно хмурится.

— Вы кто? — спрашивает он.

---

[42] notes: 42
Персонаж эпопеи о Супермене, журналистка, в которую он влюблен.

— Дэвид Лури.

— Да? И что?

— Я пришел за своей почтой. Здесь был мой кабинет.

„В прошлом“, — едва не добавляет он.

— А, да, Дэвид Лури. Простите, не сообразил. Я все сложил в коробку. Вместе с другими вашими вещами, какие я здесь нашел. — Он машет рукой: — Вон она.

— А мои книги?

— Внизу, в камере хранения.

Он поднимает коробку.

— Спасибо, — говорит он.

— Нет проблем, — откликается молодой д-р Отто. — Сами дотащите?

Он несет тяжелую коробку к библиотеке, чтобы разобрать там почту. Но, достигнув входного турникета, обнаруживает, что пропускной автомат больше не опознает его карточку. Приходится разбирать почту на скамейке в вестибюле.

Он слишком возбужден, чтобы спать. На закате он, решив порадовать себя долгой прогулкой, направляется к склону горы. Только что прошел дождь, потоки воды еще бурлят в водостоках. Он вдыхает пьянящий аромат сосен. Сегодня он человек свободный, никому, кроме себя самого,

ничем не обязанный. Время простерлось перед ним, ожидая, что он потратит его по своему усмотрению. Чувство, внушающее некоторое беспокойство; впрочем, и к нему, надо полагать, можно привыкнуть.

Месяцы, проведенные у Люси, не обратили его в сельского жителя. Тем не менее по каким-то вещам он скучает — например, по утиному семейству: Матушка Утица с выпяченной от гордости грудью гуляет, меняя галсы, по насыпи, меж тем как Эни, Мени, Мини и Мо деловито ковыляют за ней, уверенные, что, пока она здесь, с ними никакой беды не случится.

А вот о собаках ему думать не хочется. Начиная с понедельника собак, избавленных в стенах клиники от жизни, будут бросать в огонь безвестными, неоплаканными. Получит ли он когда-либо прощение за это предательство?

Он навещает банк, относит в прачечную груду белья. Продавец магазинчика, в котором он многие годы покупал кофе, делает вид, что не узнает его. Соседка, поливающая свой садик, старательно держится к нему спиной.

Он вспоминает об Уильяме Вордсворте, впервые приехавшем в Лондон, посетившем пантомиму и видевшем, как Джек Победитель Великанов,

размахивая мечом, беспечно разгуливает по сцене, защищенный написанным на его груди словом „Невидимка“.

Вечером он из будки телефона-автомата звонит Люси.

— Решил позвонить, на случай, если ты обо мне тревожишься, — говорит он. — У меня все нормально. Видимо, потребуется какое-то время, чтобы снова обжиться здесь. Я чувствую себя в доме как горошина в бутылке, только что о стены не стукаюсь. И по уткам скучаю.

О том, что дом ограблен, он не упоминает. Зачем обременять Люси своими заботами?

— Как Петрас? — спрашивает он. — Помогает тебе или все еще никак не разделается с постройкой дома?

— Петрас очень меня выручает. И другие тоже.

— Ну что ж, если понадоблюсь, я готов сразу вернуться. Ты только скажи.

— Спасибо, Дэвид. Может быть, не сейчас, но в скором времени.

Кто бы мог подумать при рождении Люси, что наступят дни, когда он будет унижаться перед ней, прося пристанища?

Покупая кое-что в супермаркете, он обнаруживает в очереди прямо перед собой Элайн Винтер,

заведующую его — теперь уж не его — кафедрой. У Элайн набитая покупками тележка на колесиках, у него — скромная ручная корзинка. Она не без нервности отвечает на его приветствие.

— Как там поживает без меня кафедра? — спрашивает он.

„Отлично, — так должен бы прозвучать наиболее честный ответ. — Прекрасно без вас обходимся“. Но для такого ответа она слишком вежлива.

— Ну, колотимся как обычно, — туманно сообщает она.

— Нашли кого-нибудь на мое место?

— Да, взяли по договору одного молодого человека.

„Я с ним уже познакомился“, — хочется сказать ему. „Маленький хер в исправном состоянии“, — мог бы прибавить он. Но и он тоже слишком хорошо воспитан.

— И какова его специальность? — вместо этого осведомляется он.

— Прикладная лингвистика. Занимается изучением языков.

Вот и конец поэтам, конец мертвым мастерам. Каковые, следует добавить, оказались не лучши-

ми из наставников. Aliter[43] каковых он слушал без должного внимания.

Женщина, стоящая перед ними, уже расплачивается. У Элайн еще остается время для следующего вопроса, коим должен стать: „А как вы поживаете, Дэвид?“, а у него для ответа: „Превосходно, Элайн, превосходно“.

— Хотите, я вас пропущу? — предлагает она взамен и указывает на его корзинку. — У вас так мало всего.

— И не мечтайте, Элайн, — отвечает он и затем не без удовольствия наблюдает, как она выкладывает на стойку покупки: не только хлеб да масло, но и те маленькие радости, которые позволяет себе одинокая женщина, — настоящее сливочное мороженое (с настоящим миндалем и настоящим изюмом), завозное итальянское печенье, плитки шоколада плюс пакет гигиенических прокладок.

Расплачивается Элайн кредитной карточкой. Из-за барьера она машет ему на прощание рукой. Явно испытывая облегчение.

— До скорого! — кричит он поверх головы кассирши. — Кланяйтесь всем от меня!

Элайн не оборачивается.

---

[43] notes: 43
Или же, иначе, по-другому *(лат.)*.

Опера, когда он только еще задумал ее, вращалась вокруг лорда Байрона и его любовницы, графини Гвиччиоли. Этим двоим, запертым на вилле Гвиччиоли, изнуренным удушающим летним зноем Равенны, выслеживаемым ревнивым мужем Терезы, предстояло бродить по унылым покоям и петь о своей одолевающей препятствия страсти. Тереза чувствует себя узницей; негодование сжигает ее, она изводит Байрона просьбами увезти ее прочь отсюда, к другой жизни. Байрон же полон сомнений, которые ему хватает ума не высказывать. Их первые восторги, подозревает он, никогда уж не повторятся. В жизни Байрона наступило затишье, его, пока еще неосознанно, влечет к тихому, уединенному существованию, а если таковое окажется невозможным, то к апофеозу, к смерти. Выспренние арии Терезы не возжигают в его душе никакого огня; его вокальная тема, безрадостная, путаная, огибает тему Терезы, проходит сквозь нее и над нею.

Такой он задумал свою оперу — камерной пьесой о любви и смерти, с пылкой юной женщиной и некогда пылким, но уже поостывшим мужчиной постарше; пьесу, действие которой оттеняется сложной, тревожной музыкой, английским пением, то и дело норовящим перейти

на вдохновенный итальянский.

Если говорить о форме — концепция неплоха. Персонажи хорошо уравновешивают друг друга: чета затворников, стучащая в окна отвергнутая любовница, ревнивый муж. Да и вилла — с люстрами, на которых раскачиваются ручные обезьянки Байрона, с павлинами, разгуливающими взад-вперед среди чересчур изукрашенной неаполитанской мебели, — создает нужное сочетание вневременья и распада.

И все же сначала на ферме Люси, теперь здесь этому замыслу никак не удается всерьез задеть струны его души. Что-то есть в нем неверное, идущее не от сердца. Женщина жалуется звездам, что шпионящие слуги вынуждают ее и любовника утолять свои желания в чулане, среди метел, — ну и что с того? Он способен найти слова для Байрона, но Тереза, которую завещала ему история — юная, алчная, своенравная, вздорная, — не отвечает музыке, о которой он мечтает, музыке, чьи гармонии, по-осеннему пышные, но отзывающие иронией, он улавливает внутренним слухом.

Он пробует пойти другим путем. Махнув рукой на исписанные нотами листы, махнув рукой на своевольницу, переживающую пору первой влюбленности в плененного ею Английского Ми-

лорда, он пытается воссоздать Терезу в ее зрелые годы. Новая Тереза — это кряжистая, низкорослая вдова, живущая со своим престарелым отцом на вилле Гамба, ведущая хозяйство, не любящая развязывать шнурки на мошне, присматривающая за слугами, чтобы те не крали сахар. В новом варианте Байрон давно мертв; единственное оставшееся у Терезы притязание на бессмертие, единственное утешение ее одиноких ночей — это сундучок с письмами и памятными вещицами, который она держит под кроватью, — то, что она называет своими reliquie[44], и что внучатые племянницы Терезы найдут после ее смерти и станут с благоговением перебирать.

Вот это и есть героиня, которую он искал столько времени? Сможет ли постаревшая Тереза увлечь его сердце — такое, каким оно стало теперь?

Время обошлось с Терезой неласково. Отяжелевший бюст, коренастое тулово, коротковатые ноги делают ее похожей скорей на крестьянку, на contadina, чем на аристократку. Лицо, которое Байрон некогда так обожал, покрыл нездоровый румянец; летней порой Терезу мучают приступы

---

[44] notes: 44
Реликвиями *(итал.)*.

астмы, и она жадно хватает ртом воздух.

В письмах к Терезе Байрон называл ее „Друг мой“, затем „Любовь моя“, затем „Вечная любовь моя“. Но существуют и письма-соперники, на которые она не может наложить руку, чтобы их сжечь. В этих письмах к английским друзьям Байрон непочтительно заносит ее в список своих итальянских побед, подшучивает над ее мужем, упоминает о женщинах ее круга, с которыми он спал. За годы, прошедшие после смерти Байрона, друзья, опираясь на его письма, понастрочили один за другим мемуаров. После того как Байрон увел Терезу у мужа, уверяют их россказни, она ему скоро наскучила; он быстро обнаружил, что Тереза пустоголова; и оставался с нею из одного только чувства долга; он для того и уплыл в Грецию, навстречу смерти, чтобы избавиться от нее.

Эти пасквили задевают ее за живое. Годы, проведенные с Байроном, это вершина ее жизни. Любовь Байрона — единственное, что отличает ее от всех остальных. Без этой любви она ничто: женщина, чья лучшая пора миновала, коротающая дни в унылом провинциальном городе, обмениваясь визитами с подругами, растирая отцу ноги, когда те болят, проводя ночи в одинокой постели.

Сможет ли он отыскать в своем сердце любовь к этой невзрачной, заурядной женщине? Сможет ли полюбить ее настолько, чтобы написать для нее музыку? Если не сможет, что ему останется тогда?

Он возвращается к тому, что должно теперь стать начальной сценой. Близится к концу еще один знойный день. Тереза стоит у окна третьего этажа отцовского дома, глядя поверх болот и чахлых сосен Романьи на солнце, блещущее на водах Адриатического моря. Конец вступления, тишина, Тереза делает вдох. „Mio[45] Байрон“, — поет она, и голос ее дрожит от печали. Одинокий кларнет отвечает ей, затихает, смолкает. „Mio Байрон“, — снова зовет она, на этот раз громче.

Где он, ее Байрон? Байрон умер, таков ответ. Байрон бродит среди теней. И она умерла тоже, Тереза, которую он любил, девятнадцатилетняя девушка со светлыми локонами, так радостно отдававшаяся властному англичанину и затем гладившая его чело, когда он, тяжело дышащий, впавший в оцепенение после всплеска великой страсти, лежал на ее нагой груди.

„Mio Байрон“, — поет она в третий раз, и отку-

---

[45] notes: 45
Мой *(итал.).*

да-то, из вертепов преисподней, отвечает голос, колеблющийся, бестелесный голос призрака, голос Байрона. „Где ты?“ — поет он, и следом приходит слово, которого ей не хочется слышать: secca, сухой. „Он высох, источник всего“.

Голос Байрона так слаб, так неверен, что Терезе приходится пропевать ему его же слова, вдох за вдохом помогая ему, вытягивая его, возвращая к жизни — ее дитя, ее мальчика. „Я здесь, — поет она, удерживая Байрона, спасая от сползания вниз. — Я твой источник. Ты помнишь, как мы навещали ключи Аркуи[46]? Вдвоем, ты и я. Я была твоею Лаурой. Ты помнишь?“

Так оно теперь и пойдет: Тереза, наделяющая любовника голосом, и он, человек в ограбленном доме, наделяющий голосом Терезу.

Стараясь работать как можно быстрее, стараясь не выпустить Терезу из рук, он пробует набросать начальные страницы либретто. Перенеси слова на бумагу, говорит он себе. Сделаешь это — дальше пойдет легче. Тогда наступит время поискать у мастеров — у Глюка к примеру — возвышенные мелодии и, возможно, — как знать? — да, возвышенные идеи.

---

[46] notes: 46

Аркуя — деревня под Падуей, в которой умер Петрарка.

Мало-помалу, по мере того как он проводит все больше времени с Терезой и мертвым Байроном, он начинает понимать, что заемные мелодии не подойдут, что эти двое требуют собственной музыки. И поразительно — нота за нотой музыка приходит к нему. Порою контур фразы возникает еще до того, как он понимает, какими будут слова; порою слова порождают каданс; порой же мелодия, несколько дней протоптавшаяся у порога слышимости, раскрывается, радостно являя себя. Больше того, действие, развиваясь, начинает взывать к собственным модуляциям, к переключениям, которые, он чувствует это, бродят в его крови, даже когда ему не хватает музыкальных средств для их выражения.

Он усаживается за рояль, намереваясь соединить разрозненные куски и записать начало партитуры. Но что-то в звучании рояля мешает ему: оно слишком округло, слишком материально, слишком богато. Он притаскивает с чердака, из набитой старыми книгами и игрушками Люси корзины, странноватое маленькое семиструнное банджо, купленное для дочери, тогда еще девочки, на улице Куамашу. И с помощью банджо принимается перекладывать на ноты музыку, под которую Тереза, то скорбящая, то гневная,

поет, обращаясь к мертвому любовнику, и ту, под которую поет ей в ответ из страны теней тусклоголосый Байрон.

Чем дальше углубляется он за графиней в ее преисподнюю, выпевая за нее слова или мурлыча ее вокальную линию, тем, к его удивлению, более неотделимым от нее становится глупенькое треньканье банджо. Роскошные арии, которыми он мечтал ее наделить, тихо отступают в небытие, и остается всего лишь короткий шаг до того, чтобы вложить инструмент в ее руки. Теперь Тереза не расхаживает торжественно по сцене, но сидит, глядя поверх болот на врата ада, баюкая мандолину, на которой она аккомпанирует своим лирическим порывам; а обок нее скромное трио (виолончель, флейта, фагот) заполняет паузы или вставляет между строф скупые замечания.

Сидя за письменным столом и глядя в заросший садик, он дивится тому, чему научило его маленькое банджо. Шесть месяцев назад он полагал, что его собственное призрачное место в „Байроне в Италии“ будет находиться где-то между Терезой и Байроном — между стремлением продлить летнюю пору страстного тела и неохотным пробуждением от долгого сна забвения. Он ошибался. В конечном итоге не эротика взывала

к нему, не элегическое начало, но комическое. В опере он не Тереза, не Байрон, не даже некая их смесь: он живет в самой музыке, в монотонном металлическом щелканье банджовых струн, в голосе, который пытается воспарить над нелепым инструментом, но раз за разом послушно притягивается к нему, точно рыба на леске.

Таково искусство, думает он, и вот так оно работает! Как странно! Как чарующе!

Он проводит целые дни в обществе Байрона и Терезы, питаясь черным кофе и овсянкой. Холодильник пуст, кровать не убрана, ветер, врываясь в разбитое окно, гоняет по полу листья. Неважно, думает он, пусть мертвые погребают своих мертвецов.

„У поэтов я научился любить, — на одной ноте до бекар поет резким голосом Байрон, одиннадцать слогов, — но жизнь, как узнал я (хроматический спуск к фа), дело совсем иное“. „Трень-брень-дринь“, — комментируют струны банджо. „Почему о, почему ты так говоришь?“ — выпевает Тереза по долгой, укоризненной дуге. „Брень-трень-дринь“, — вторят ей струны банджо.

Ей хочется быть любимой, Терезе, любимой вовек; ей хочется возвыситься до общества Лаур

и Флор прежних времен. А Байрон? Байрон сохранит верность ей до гроба, но это и все, что он обещает. „Да не порвем мы уз, покуда живы оба“.

„My love“[47], — поет Тереза, растягивая сочное английское односложное, заученное ею в постели поэта. „Трень“, — отзываются эхом струнные. Женщина в любви, погрязшая в любви; кошка, воющая на крыше; сложные протеины, бурлящие в крови, вздувая половые органы, заставляя ладони потеть, а голос — хрипнуть, пока душа возносит свои упования к небесам. Вот для чего существовали Сорайа и прочие: чтобы высосать, как высасывают змеиный яд, сложные протеины из его крови, оставив его сухим и трезвомыслящим. У Терезы в равеннском доме ее отца нет, на ее беду, никого, кто высосал бы яд из ее жил. „Приди ко мне, mio Байрон, — восклицает она, — приди, люби меня!“ И Байрон, изгнанный из жизни, бледный, как призрак, насмешливо отвечает: „Оставь меня, оставь, оставь, чтоб жить я мог!“

Много лет назад, живя в Италии, он посетил тот самый лес между Равенной и Адриатикой, в который за полтора столетия до него выезжали на верховые прогулки Байрон с Терезой. Где-то

---

[47] notes: 47
Любовь моя *(англ.)*.

там, под деревьями, должно находиться место, на котором англичанин впервые задрал юбки своей только что ставшей женой другого мужчины восемнадцатилетней чаровницы. Он мог бы улететь завтра в Венецию, вскочить в поезд на Равенну, побродить по старым тропинкам для верховой езды, пройти мимо этого места. Он сочиняет музыку (или музыка сочиняет его), но не историю. На тех сосновых иглах Байрон обладал своею Терезой — „робкой, как газель“ называл он ее, — сминая ей платья, забивая песком белье (и все это время лошади стояли поблизости, не любопытствуя); так зародилась страсть, которая заставляла Терезу до скончания ее земного бытия в горячке выть на луну, которая и из Байрона исторгла вой, пусть и несколько отличный.

Тереза ведет его; он следует по пятам за нею с одного листа на другой. И вот настает день, когда из темноты долетает еще один голос, которого он до сей поры не слышал и не думал услышать. Судя по узнанным им словам, голос принадлежит Аллегре, дочери Байрона, — да, но из каких тайников *его-то* души он исходит? „Зачем ты меня покинул? Приходи, забери меня! — взывает Аллегра. — Здесь так жарко, так жарко, так жарко!“ — жалуется она, и ритм ее жалоб прорезает

голоса любовников.

Ответа на призыв никому не нужной пятилетней девочки не приходит. Некрасивая, нелюбимая, забытая знаменитым отцом, она переходила из рук в руки и наконец была отдана на попечение монахиням. „Так жарко, так жарко! — скулит она в монастырской постели, умирая от la malaria. — Почему ты забыл меня?“

Почему отец ей не отвечает? Потому что он пресытился жизнью, потому что предпочел бы вернуться на *свое* место, на *тот* берег смерти, погрузиться в свой стародавний сон. „Бедная моя девочка!“ — поет Байрон неуверенно, невольно, слишком тихо, чтобы быть услышанным ею. Сидя поодаль, в тени, трое инструменталистов наигрывают зигзагообразную тему, линейка вверх, линейка вниз — тему Байрона.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Звонит Розалинда.

— Люси говорит, ты вернулся в город. Почему не звонишь?

— Я пока не пригоден для общения, — отвечает он.

— А когда ты был для него пригоден? — сухо осведомляется Розалинда.

Они встречаются в кофейне на Кларемон.

— Ты похудел, — замечает Розалинда. — Что у тебя с ухом?

— Пустяки, — отвечает он и в дальнейшие пояснения не вдается.

Пока они беседуют, взгляд Розалинды то и дело возвращается к его изуродованному уху. Она содрогнулась бы, он в этом уверен, если бы ей пришлось притронуться к этой штуке. Розалинда не из тех, кто всегда готов броситься на помощь. Лучшие из связанных с нею воспоминаний относятся к их первым совместным месяцам: душные летние ночи в Дурбане, влажные от пота простыни, долгое, бледное тело Розалинды, мотающееся из стороны в сторону в судорогах наслаждения,

которое нелегко отличить от боли. Чета сластолюбцев: это и держало их вместе, пока все не кончилось.

Они говорят о Люси, о ее ферме.

— Я думала, с ней там подружка живет, — удивляется Розалинда, — Грейс.

— Хелен. Хелен вернулась в Йоханнесбург. Подозреваю, они разошлись навсегда.

— А не опасно ли это для Люси — жить в таком глухом месте?

— Еще как опасно, Люси была бы сумасшедшей, если бы считала, что там безопасно. Но она все равно хочет остаться. Для нее это стало вопросом чести.

— Ты вроде говорил, что у тебя украли машину.

— Тут я сам виноват. Следовало быть поосторожнее.

— Да, чуть не забыла — мне рассказали о суде над тобой. Сведения из первых рук.

— Суде?

— Расследовании, разбирательстве, называй как хочешь. Судя по тому, что я услышала, ты показал себя не в лучшем виде. Был слишком несговорчив, даже агрессивен.

— Я и не собирался произвести на них приятное

впечатление. Я отстаивал принцип.

— Может, и так, Дэвид, но ты же понимаешь, что на подобных судилищах главное не принципы, а то, насколько хорошо ты себя подаешь. Если верить моему источнику, ты себя подал плохо. Какой такой принцип ты отстаивал?

— Свободу речи. Свободу молчания.

— Звучит возвышенно. Впрочем, ты всегда прекрасно умел обманывать себя, Дэвид. Великий мастер обмана и самообмана. Ты уверен, что это был не тот случай, когда тебя просто-напросто застукали со спущенными штанами?

На эту приманку он не клюет.

— Так или иначе, какой бы принцип ты ни отстаивал, он оказался слишком сложным для понимания твоей аудитории. Аудитория решила, что ты попросту напускаешь туману. Тебе следовало подыскать человека, который заранее натаскал бы тебя. Как ты выкручиваешься с деньгами? Пенсию они отобрали?

— Попытаюсь вернуть то, что когда-то вложил. Продам дом. Он слишком велик для меня.

— А чем собираешься заняться? Работу будешь искать?

— Не уверен. У меня и так дел по горло. Я кое-что пишу.

— Книгу?

— Собственно говоря, оперу.

— Оперу? Это что-то новенькое. Надеюсь, она принесет тебе кучу денег. Ты думаешь перебраться к Люси?

— Опера не более чем хобби, просто чтоб было чем голову занять. Денег она не принесет. А к Люси — нет, к Люси я перебираться не стану. Это не самая удачная мысль.

— Почему? Вы с ней всегда отлично ладили. Что-нибудь случилось?

Розалинда определенно сует нос куда не следует, но она всегда делала это без колебаний. „Ты десять лет спал в одной постели со мной, — однажды сказала она, — какие же у тебя могут быть от меня секреты?“

— С Люси мы ладим по-прежнему, — отвечает он. — Но не так хорошо, чтобы жить вместе.

— История твоей жизни.

— Да.

Наступает молчание, оба озирают, каждый со своей колокольни, историю его жизни.

— Я тут твою подружку видела, — извещает его, меняя тему, Розалинда.

— Подружку?

— Ну, прелестницу твою. Мелани Исаакс — ее

ведь так зовут? Играет в театре „Причал“. Ты не знал? Теперь понимаю, чем она тебя взяла. Большие темные глаза. Тело как у маленькой ласки. В точности твой тип. Ты, должно быть, решил, что это будет еще одна из твоих недолгих эскапад, дежурный грешок. Ну и посмотри теперь на себя. Выбросил жизнь псу под хвост, и ради чего?

— Я вовсе не выбрасывал свою жизнь, Розалинда. Не городи ерунды.

— Как не выбрасывал! Работы нет, имя замарано, друзья тебя избегают, ты прячешься на Торранс-роуд, будто черепаха, боящаяся выставить голову из-под панциря. Люди, недостойные даже того, чтобы чистить тебе ботинки, отпускают шуточки на твой счет. Рубашка на тебе неглаженая, подстрижен ты бог знает кем и как, ты стал… — Розалинда обрывает тираду. — В конечном итоге тебя ожидает участь тех несчастных стариков, что роются в мусорных баках.

— В конечном итоге меня ожидает яма в земле, — говорит он. — Как и тебя. И всех прочих.

— Хватит, Дэвид, я и так расстроена тем, что увидела, не хочу я с тобой препираться. — Она собирает свои пакеты. — Когда тебе опротивеет хлеб с джемом, позвони, я для тебя что-нибудь приготовлю.

———

Упоминание о Мелани Исаакс выбивает его из колеи. Он никогда не вступал с женщинами в долгие связи. Если роман завершался, он просто поворачивался к нему спиной. Но в истории с Мелани присутствует нечто незавершенное. Глубоко внутри него хранится ее запах, запах самки. Помнит ли и она, как пахнул он? „В точности твой тип“, — сказала Розалинда, а уж кому и знать, как не ей? Что, если пути их снова пересекутся, его и Мелани? Вспыхнут ли в них чувства, указывая, что роман их еще не закончился естественным образом?

И все же показаться Мелани на глаза было бы чистым безумием. С чего бы стала она разговаривать с человеком, осужденным за то, что он преследовал ее? Да и что она подумает о нем — обормоте с нелепым ухом, с жеваным воротником рубашки, нестриженом?

Бракосочетание Хроноса и Гармонии: деяние противоестественное. Дабы покарать за оное, и было — если отбросить красивые слова — затеяно судилище. Отдан под суд за образ жизни. За противоестественные деяния: за распространение старого семени, усталого семени, семени, не

способного, contra naturam[48], к оплодотворению. Если старики захапывают юных женщин, какое будущее светит человеческому роду? Такова в основе своей суть обвинения. Тому же посвящена половина всей литературы: юным женщинам, изо всех сил пытающимся вывернуться из-под гнетущей тяжести стариков — ради блага человеческого рода.

Он вздыхает. Молодые люди в объятьях друг дружки, беззаботные, купающиеся в чувственной музыке. Эта страна — не для стариков. Что-то он слишком много времени тратит на вздохи. Раскаяние: покаянная нота, которой все и кончается.

Еще два года назад в здании театра „Причал“ размещался склад-холодильник, в котором висели, ожидая отправки за море, туши свиней и коров. Ныне это модное увеселительное заведение. Он приезжает с опозданием и занимает место в зале, когда уже тускнеет свет. „Сокрушительный успех как следствие удовлетворения запросов общества“ — так сказано в афише о новой постановке „Салон „Глобус“ в часы заката“. Декорации более стильны, режиссура более профессиональна, главную роль исполняет другой

[48] notes: 48
Вопреки природе *(лат.)*.

актер. И тем не менее он находит пьесу, с ее грубым юмором и голой политической тенденцией, такой же невыносимой, как прежде.

Мелани сохранила роль Глории, начинающей парикмахерши. В розовом балахоне поверх золотистых парчовых колготок, с безвкусно размалеванным лицом, с зачесанными наверх и уложенными в букли волосами, она ковыляет по сцене на высоких каблуках. Реплики ее предсказуемы, однако она произносит их с хныкающим капским акцентом и в точно рассчитанные моменты времени. Вообще она больше уверена в себе, чем прежде, — в сущности, даже хороша в этой роли, положительно талантлива. Возможно ли, что за несколько месяцев его отсутствия Мелани повзрослела, обрела себя? *Кто не убил меня, тот сделал* лишь *сильнее.* Быть может, суд над ним стал судом и для нее; быть может, она тоже отбыла наказание и осознала свою вину.

Ему нужен знак. Получив его, он знал бы, что делать. Если бы, например, этот нелепый наряд сгорел на ее теле холодным, не всякому видным пламенем и она предстала бы перед ним откровением, понятным только ему, нагая и совершенная, как в ту последнюю ночь в бывшей комнате Люси!

Пришедшие с приятностью провести вечер выходного дня люди, среди которых он сидит, краснолицые, уютно чувствующие себя в своей обильной плоти, наслаждаются пьесой. Им нравится Мелани — Глория, они хихикают в ответ на рискованные шутки, гогочут, когда персонажи принимаются чернить и поносить друг друга.

Это его соплеменники, но можно ли чувствовать себя среди них большим чужаком, большим самозванцем? И все же, когда они смеются над репликами Мелани, он ощущает прилив гордости. „Это моя!“ — хотел бы сказать он, как будто Мелани — его дочь.

Без всякого предупреждения возвращается воспоминание многолетней давности: о женщине, которую он подсадил в машину на шоссе HI под Тромпсбургом и подвез, — о двадцатилетней путешествующей в одиночку туристке из Германии, загорелой и пыльной. Они доехали аж до Тоусрифира, остановились в гостинице; он накормил ее, переспал с нею. Он помнит ее длинные, тонкие и гибкие ноги; помнит мягкость ее волос, становившихся в его пальцах легкими, точно перья.

Внезапным беззвучным извержением — он словно проваливается в сон наяву — в него уда-

ряет поток образов, образов женщин, которых он знал на двух континентах; некоторые так далеки от него во времени, что он с трудом узнает их. Будто несомые ветром листья, смешиваясь, пролетают они перед ним. *Полное публики прекрасное поле:* сотни чужих жизней, переплетенных с его. Он затаивает дыхание, ему хочется, чтобы видение продлилось…

Что с ними стало, со всеми этими женщинами, со всеми этими жизнями? Выпадают ли им мгновения, когда и их, или некоторых из них, окунают без предупреждения в океан памяти? Та немка: может ли быть, что в этот вот миг она вспоминает человека, подобравшего ее на африканской дороге и проведшего с нею ночь?

„Обогатил“ — слово, к которому прицепились газеты, чтобы поглумиться над ним. Дурацкое в тех обстоятельствах, случайно вырвавшееся слово, и все же ныне, в эту минуту, он готов отстаивать его. Мелани, девушка в Тоусрифире, Розалинда, Бев Шоу, Сорайа — каждая из них обогащала его, да и другие тоже, даже те, что ничего для него не значили, те, с которыми он потерпел неудачу. В груди его словно распускается цветок — сердце переполняется благодарностью.

Откуда приходят мгновения, подобные этому?

Предсонные — да, разумеется, но что это объясняет? И если он — ведомый, какое божество ведет его?

Спектакль все тянется, тянется. Вот и эпизод, в котором щетка Мелани запутывается в электрических проводах. Вспышка магния, сцена вдруг погружается во мрак. „Иисусе Христе, — визжит парикмахер, — чертова дурища!“

Его отделяют от Мелани двадцать рядов, но он надеется, что в этот миг она, через все расстояние, чует его, чует его мысли.

Что-то легонько стукает его по затылку, возвращая в привычный мир. Секунду спустя что-то еще, пролетев мимо, шлепает о спинку кресла, стоящего прямо перед ним: комочек жеваной бумаги величиной с детский стеклянный шарик. Третий ударяет его в шею. Сомневаться не приходится: мишенью является именно он.

Наверное, ему следует обернуться и вериться грозным взглядом в пространство. „Кто это сделал?“ — наверное, следует рявкнуть ему. Или же чопорно уставиться перед собой, делая вид, что он ничего не замечает.

Четвертый катышек, врезавшись в его плечо, взвивается в воздух. Сосед по ряду удивленно косится на него.

На сцене продолжается действие. Сидней, парикмахер, вскрывает роковой конверт и зачитывает вслух ультиматум домохозяина. Им надлежит выплатить до конца месяца задолженность по оплате помещения, в противном случае „Глобус“ закроют. „Ну и что нам теперь делать?“ — стонет Мириам, женщина, моющая клиентам головы.

— Ссс, — доносится сзади шипение, тихое, но не настолько, чтобы его не услышали и в первом ряду. — Ссс.

Он оборачивается, и новый катышек ударяет его в висок. У задней стены стоит Райан, все тот же дружок Мелани, — в эспаньолке и с кольцом в ухе. Их взгляды встречаются. „Профессор Лури!“ — хрипло шепчет Райан. Сколь ни возмутительно его поведение, он, похоже, чувствует себя совершенно непринужденно. Легкая улыбка играет на его губах.

Представление продолжается, но теперь вокруг него явственно нарастает нервозность. „Ссс“, — снова шипит Райан. „Тише!“ — восклицает, обращаясь к нему, хоть он и не издал ни звука, женщина, сидящая от него через два кресла.

Прежде чем ему удается добраться до прохода, отыскать путь к дверям театра и выйти в ветре-

ную безлунную ночь, приходится миновать пять пар коленей („Простите… Простите…“), косые взгляды, сердитый шепот.

Какой-то звук сзади. Он оборачивается. Вспыхивает кончик сигареты — Райан последовал за ним на парковку.

— Вы не собираетесь объясниться? — резко выпаливает он. — Объяснить ваше ребяческое поведение?

Райан затягивается.

— Я лишь оказал вам услугу, проф. Вы так и не усвоили урока?

— Какого еще урока?

— Что надо держаться поближе к своим.

„Поближе к своим“… Какое право имеет этот мальчишка указывать ему, кто свой, кто не свой? Что он знает о силе, толкающей совершенно посторонних людей в объятья друг друга, обращая их, вопреки всякому благоразумию, в родню, в „своих“? Omnis gens quaecumque se in se perficere vult[49].

Семя поколения, ведомое потребностью исполнить свое предназначение, вводимое в глубины женского тела, ведущее будущее к жизни. Вел,

---

[49] notes: 49
Всякое существо стремится достичь совершенства *(лат.)*.

довел. Райан нарушает молчание:

— Оставьте ее в покое! Мелани, стоит ей увидеть вас, наплюет вам в глаза!

Уронив сигарету, Райан делает шаг вперед. Звезды так ярки, что двое мужчин, стоящих друг против друга, верно, выглядят со стороны охваченными огнем.

— Найдите себе другую жизнь, проф. Так будет лучше, поверьте.

Он медленно едет, возвращаясь домой, по Мэйн-роуд Грин-Пойнта. „Наплюет вам в глаза“… Этого он не ожидал. Рука на руле подрагивает. Болезненные пинки существования — пора бы ему научиться принимать их с большей легкостью.

Множество пешеходов на улицах; на светофоре один из них, вернее, одна — высокая девушка в коротенькой кожаной юбочке — привлекает его внимание. „Почему бы и нет? — думает он. — Как-никак нынче ночь откровений“.

Они останавливаются в тупичке на склоне Сигнального холма. Девушка то ли пьяна, то ли накачалась наркотиком — ничего связного от нее добиться не удается. Тем не менее обслуживает она его настолько хорошо, насколько он вправе был ожидать. Потом она лежит, уткнувшись лицом в его пах, отдыхая. Она моложе, чем казалась

при уличном свете, моложе даже, чем Мелани. Ладонь его покоится на ее затылке. Дрожи как не бывало. Он ощущает сонливость, довольство; и странную потребность защитить эту девушку от бед.

„Вот и все, что нужно! — думает он. — И как это я позабыл?“

Не дурной человек, но и не хороший. Не холоден и не горяч, даже в самые пылкие минуты. Не горяч по меркам Терезы, да, собственно, и Байрона. Лишенный огня. Таков и будет вынесенный ему приговор — приговор Вселенной и ее всевидящих глаз?

Девушка, поерзав, садится.

— Где ты меня подцепил? — лепечет она.

— Сейчас я отвезу тебя туда, где подцепил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Он продолжает время от времени позванивать Люси. В разговорах дочь старательно уверяет его, что на ферме все в полном порядке, а он притворяется, будто верит ее словам. Она говорит, что у нее много возни с клумбами, на которых уже расцвели весенние цветы. Мало-помалу оживает и псарня. Люси взяла на полный пансион двух собак и надеется получить еще. Петрас занят своим домом, но занят не настолько, чтобы не помогать ей. Часто приезжают супруги Шоу. Нет, в деньгах она не нуждается.

И все же что-то в тоне Люси лишает его покоя. Он звонит Бев Шоу.

— Ты единственная, у кого я могу спросить, — говорит он. — Как там Люси? Только честно.

Бев настораживается.

— А что она тебе рассказала?

— Она говорит, все хорошо. Но голос у нее как у зомби. Впечатление такое, что она сидит на транквилизаторах. Это так?

Бев уклоняется от ответа. Впрочем, она говорит — и похоже, тщательно подбирая слова, — что

есть кое-какие „новости“.

— Какие?

— Этого я сказать не могу, Дэвид. Не заставляй меня. Люси должна сама тебе рассказать.

Он звонит Люси.

— Мне нужно съездить в Дурбан, — говорит он, и говорит неправду. — Не исключено, что я получу там работу. Можно я остановлюсь у тебя на день-другой?

— Ты разговаривал с Бев Шоу?

— Бев тут решительно ни при чем. Могу я приехать?

Он летит в Порт-Элизабет, берет напрокат машину. Два часа спустя он сворачивает с шоссе на ведущий к ферме проселок — к ферме Люси, к ее клочку земли.

Быть может, это и его земля тоже? Он не чувствует связи с нею. Несмотря на все то время, которое он здесь провел, земля эта ощущается им как чужая.

Кое-что здесь успело перемениться. Проволочная изгородь, сооруженная не очень искусно, обозначает ныне границу между владениями Люси и Петраса. На Петрасовой стороне пасутся две тощие телки. Дом Петраса воплотился в реальность. Серое, лишенное индивидуальности

строение стоит на холме к востоку от старой фермы; по утрам, понимает он, строение это должно отбрасывать длинную тень.

Люси в бесформенной блузе, которая вполне может быть и ночной сорочкой, открывает дверь. Прежнего бодрого выражения, выражения человека, отличающегося крепким здоровьем, как не бывало. Лицо болезненно бледное, голова не мыта. Люси без всякой сердечности обнимает его.

— Входи, — говорит она. — Я как раз завариваю чай.

Они садятся за кухонный стол. Люси разливает чай, вручает ему пакетик с имбирным печеньем.

— Так что тебе предлагают в Дурбане? — спрашивает она.

— Это может подождать. Я приехал, потому что тревожусь за тебя, Люси. У тебя все в порядке?

— Я беременна.

— Ты — что?

— Беременна.

— От кого? Это с того дня?

— С того дня.

— Не понимаю. Я думал, ты приняла необходимые меры, ты и твой врач.

— Нет.

— Что значит „нет“? Ты хочешь сказать, что

просто сидела сложа руки?

— Нет, не сидела. Я приняла все разумные меры, кроме той, на которую ты намекаешь. Аборта я делать не стану. Я не готова еще раз пройти через это.

— Не знал, что ты так к этому относишься. Ты никогда не говорила мне, что не признаешь абортов. Но я, собственно, не об аборте. Я думал, ты принимала оврал.

— Признание тут ни при чем. И я никогда не говорила, что принимаю оврал.

— Но что же ты раньше-то не сказала? Почему скрывала от меня?

— Потому что тогда мне пришлось бы вытерпеть очередную твою вспышку, а мне это не по силам. Дэвид, я не могу строить свою жизнь исходя из того, что тебе нравится и что не нравится. Больше не могу. Ты ведешь себя так, словно все, что я делаю, это часть твоей биографии. Ты у нас главный персонаж, а я — персонаж второстепенный, который и на сцену-то выходит, когда половина пьесы уже сыграна. Так вот, что бы ты себе ни думал, люди не делятся на главных и второстепенных. Я не второстепенна. У меня своя жизнь, настолько же важная для меня, насколько твоя важна для тебя, и в этой моей жизни реше-

ния принимаю я.

Вспышку? А это как называется?

— Будет, Люси, — говорит он и, потянувшись через стол, берет ее за руку. — Ты хочешь сказать, что собираешься оставить ребенка?

— Да.

— Ребенка от одного из тех мужчин?

— Да.

— Но почему?

— Почему? Я женщина, Дэвид. Ты что думаешь, я ненавижу детей? Или я должна избавиться от ребенка только потому, что его отец негодяй?

— Такое случается. Когда ты его ждешь?

— В мае. В конце мая.

— Ты все хорошо обдумала?

— Да.

— Ну и отлично. Признаюсь, для меня это потрясение, но я на твоей стороне, что бы ты ни решила. Тут и обсуждать нечего. А теперь я пойду прогуляюсь. Поговорить мы можем и после.

Почему не поговорить прямо сейчас? Потому что он не в себе. Потому что и он может сорваться.

Она не готова, сказала Люси, снова пройти через аборт. То есть аборт она уже делала. Ни за что бы не догадался. Когда это могло произойти?

Когда она еще жила дома? И Розалинда все знала, а его держали в неведенье?

Трое бандитов. Три отца в одном. Скорее насильники, чем грабители, так сказала о них Люси, — насильники плюс сборщики податей, бродящие в этих местах, нападая на женщин, наслаждаясь насилием. Нет, Люси ошибалась. Они не насилуют, они спариваются. Их действия направляются не наслаждением, но мошонкой, мешочками, раздувшимися от семени, которому не терпится исполнить свое предназначение. И вот, прошу любить, *ребенок!* Он уже называет *ребенком* то, что является пока не более чем червячком, скрытым в утробе дочери. Какому ребенку способно дать жизнь подобное семя, семя, проникшее в женщину не в любви, но в ненависти, бессмысленно смешанное, извергнутое, чтобы ее запятнать, пометить, как метит собачья моча?

Отец, и не думавший породить сына. Значит, этим все и закончится, значит, так оборвется его род — подобно воде, по капле ушедшей в землю? Кто мог подумать! День как день, чистое небо, ласковое солнце, и вдруг все изменяется, изменяется раз и навсегда!

Прислонившись к наружной стене кухни, спря-

тав лицо в ладони, он испускает один тяжкий вздох за другим и наконец разражается рыданиями.

Он поселяется в прежней комнате Люси, куда дочь так и не вернулась. До конца дня он избегает ее, боясь ляпнуть что-нибудь неуместное.

За ужином его ждет новое открытие.

— А кстати, — говорит Люси, — мальчишка вернулся.

— Мальчишка?

— Ну да, мальчишка, с которым ты сцепился на празднике Петраса. Живет у Петраса, помогает по хозяйству. Его зовут Поллукс.

— А не Мнцедизи? Не Нкуабайяхи? Ничего непроизносимого, просто Поллукс?

— П-о-л-л-у-к-с. И, Дэвид, может быть, для разнообразия обойдемся без твоей жуткой иронии?

— Не понимаю, о чем ты?

— Ну как не понимаешь? Когда я была маленькой, ты год за годом прибегал к ней, чтобы меня подавлять. Не мог же ты об этом забыть. Между прочим, Поллукс приходится братом жене Петраса. Родным не родным, не знаю. Но у Петраса есть перед ним обязательства, семейные обязательства.

— Так-так, вот все и проясняется. Юный Поллукс

возвращается на место преступления, а мы должны вести себя так, будто ничего не случилось.

— Не распаляйся, Дэвид, этим ничему не поможешь. По словам Петраса, Поллукс бросил школу, а работу найти не может. Я просто хотела предупредить тебя, что он тут, рядом. На твоем месте я бы держалась от него подальше. По-моему, с ним не все в порядке. Но выгнать его отсюда я не могу, это не в моей власти.

— Тем более что… — Он не заканчивает предложения.

— Тем более — что? Говори уж.

— Тем более что он может оказаться отцом ребенка, которого ты носишь. Люси, твое положение становится смехотворным, хуже, чем смехотворным, пагубным. Не понимаю, как ты не видишь этого. Умоляю тебя, брось, пока еще не слишком поздно, ферму. Это единственный разумный шаг, какой ты можешь сделать.

— Перестань называть ее фермой, Дэвид! Никакая это не ферма, просто клочок земли, на котором я кое-что выращиваю, и оба мы это знаем. А отказываться от него я не собираюсь.

В постель он ложится с тяжелым сердцем. Ничего не изменилось между ним и Люси, рана ничуть не зажила. Они грызутся так, словно он

и не уезжал.

Утро. Он перелезает через новую изгородь. Жена Петраса развешивает за старыми конюшнями стираное белье.

— С добрым утром, — говорит он. — Molo. Я ищу Петраса.

Женщина не встречается с ним взглядом, лишь апатично указывает в сторону строительной площадки. Движения ее замедленны, тяжелы. Близится ее время: даже он видит это.

Петрас стеклит окна. Петраса следовало бы поприветствовать, поболтать с ним о том о сем, но у него нет для этого никакого настроения.

— Люси сказала мне, что мальчишка вернулся, — говорит он. — Поллукс. Тот, что напал на нее.

Петрас вытирает дочиста нож, откладывает его в сторону.

— Он мой родственник, — произносит Петрас с раскатистым „р“. — Не могу же я выгнать его из-за того, что случилось.

— Вы говорили, что не знаете его. Вы мне наврали.

Петрас сует в рот трубку, сжимает ее желтоватыми зубами и со свистом втягивает воздух. Затем вынимает трубку и широко улыбается.

— Наврал, — говорит он. — Я вам наврал. — Снова затяжка. — А почему?

— Это вы не меня спрашивайте, Петрас, а себя. Зачем вы врали?

Улыбка исчезает.

— Вы уезжаете, опять возвращаетесь — зачем? — Петрас глядит на него с вызовом. — Работы у вас здесь нет. Вы приезжаете, чтобы позаботиться о вашем ребенке. Вот и я забочусь о моем ребенке.

— Вашем ребенке? Так он, выходит, ваш ребенок, этот Поллукс?

— Да. Он ребенок. Он из моей семьи, из моего народа.

Вот, значит, как. Петрас больше не врет. „Из моего народа“. Более прямого ответа не приходится и желать. Ну что ж, а Люси *из его народа.*

— Вы говорите, это плохо, то, что произошло, — продолжает Петрас. — И я говорю, что плохо. Плохо. Но с этим покончено. — Он вынимает трубку изо рта и с силой тычет чубуком в воздух. — Покончено.

— Да нет, не покончено. И не делайте вид, будто не понимаете, о чем я. Ничего не покончено. Напротив, только начинается. И будет продолжаться еще долгое время после того, как мы с

вами умрем.

Петрас задумчиво глядит на него, не притворяясь, что не понял сказанного.

— Мальчик женится на ней, — произносит он наконец. — Женится на Люси, только он пока слишком молод, слишком молод, чтобы жениться. Совсем еще ребенок.

— Опасный ребенок. Юный бандит. Шакаленок.

Петрас не обращает внимания на оскорбления.

— Да, он еще слишком молодой, слишком. Может, когда-нибудь и сможет жениться, но не сейчас. Я женюсь.

— На ком это вы женитесь?

— На Люси.

Он не может поверить своим ушам. Так вот к чему все свелось, вот ради чего затевался весь этот бой с тенью — ради этого предложения, этого удара! И вот он стоит, добропорядочный Петрас, попыхивая пустой трубкой, ожидая ответа.

— Вы женитесь на Люси? — говорит он, осторожно подбирая слова. — Объясните, что вы хотите этим сказать. Нет, не надо, не объясняйте. Я ничего не хочу слышать. У нас так дела не делаются.

„У нас“... Он едва не сказал: „У нас, людей За-

пада“.

— Да я понимаю, понимаю, — говорит Петрас. И смешливо фыркает, буквальным образом. — Но я вам сказал, теперь вы скажите Люси. И тогда все кончится, все плохое.

— Люси не собирается замуж. Ни за кого. Ей это даже в голову не приходит. Яснее я выразиться не вправе. Она хочет жить своей жизнью.

— Я знаю, — говорит Петрас. И возможно, действительно знает. Глупо было бы недооценивать Петраса. — Но здесь, — продолжает Петрас, — опасно, очень опасно. У женщины должен быть муж.

— Я старался говорить с ним спокойно, — спустя некоторое время рассказывает он Люси. — Хотя едва смог поверить услышанному. Это же шантаж, чистой воды шантаж.

— Это не шантаж. Тут ты ошибаешься. Надеюсь, ты не вспылил?

— Нет, я не вспылил. Я сказал, что передам тебе его предложение, вот и все. И выразил сомнение в том, что оно тебя заинтересует.

— Ты почувствовал себя оскорбленным?

— Оскорбленным возможностью оказаться тестем Петраса? Нет. Я был поражен, изумлен, ошарашен, но нет, не оскорблен, тут ты мне мо-

жешь поверить.

— Потому что, должна тебе сказать, это не в первый раз. Петрас уже довольно давно делает намеки. Насчет того, что для меня было бы безопаснее стать членом его семьи. Это не шутка и не угроза. В определенном смысле он вполне серьезен.

— Я и не сомневаюсь в том, что он серьезен, в каком-то смысле. Вопрос — в каком? Знает ли он, что ты?..

— Ты хочешь сказать, знает ли он о моем состоянии? Я ему не говорила. Но уверена, и жена его, и сам он способны смекнуть, что к чему.

— И это не заставит его передумать?

— С чего бы? Это в еще большей степени сделает меня членом семьи. Как бы там ни было, ему нужна не я, а ферма. Ферма — мое приданое.

— Но это же абсурд, Люси! Он уже женат! Да ты ведь сама и говорила мне о двух его женах. Как ты можешь даже думать об этом?

— По-моему, ты так ничего и не понял, Дэвид. Петрас не предлагает мне венчание в церкви и медовый месяц на Диком Берегу. Он предлагает союз, сделку. Я вношу землю, взамен он позволяет мне заползти под его крыло. В противном случае, напоминает он мне, я остаюсь беззащитной —

легкой добычей.

— И по-твоему, это не шантаж? А личная сторона дела? Или личная сторона в его предложении отсутствует?

— Ты хочешь сказать, рассчитывает ли Петрас, что я буду с ним спать? Не думаю, что Петрас захочет этого, разве только для того, чтобы заставить меня уразуметь серьезность его намерений. Но если говорить начистоту, спать с Петрасом я не собираюсь. Что нет, то нет.

— Ну так не о чем больше и толковать. Должен ли я передать твое решение Петрасу: предложение отвергается без каких-либо объяснений?

— Нет. Погоди. Прежде чем задирать нос перед Петрасом, потрать несколько минут на то, чтобы объективно оценить мое положение. Объективно говоря, я женщина одинокая. Братьев у меня нет. Есть отец, но он далеко, да и вообще беспомощен в том, что имеет здесь вес и значение. Кого я могу просить о защите, о покровительстве? Эттингера? В один прекрасный день его просто-напросто найдут с пулей в спине, это всего лишь вопрос времени. Остается практически один только Петрас. Он, может, и не самый большой здесь человек, но достаточно большой для такой мелюзги, как я. И Петраса я хотя бы знаю. Я не

питаю иллюзий на его счет. Знаю, чего от него можно ждать.

— Люси, я сейчас занимаюсь продажей дома в Кейптауне. Я готов отправить тебя в Голландию. Не хочешь в Голландию, я дам тебе все необходимое Для того, чтобы обосноваться в каком-нибудь месте побезопаснее. Подумай об этом.

Дочь будто и не слышит его.

— Вернись к Петрасу, — говорит она, — и предложи ему следующее. Скажи, что я принимаю его покровительство. Скажи, что он может выдумать любую байку о наших с ним отношениях, я спорить не буду. Если он хочет, чтобы я считалась его третьей женой, — пожалуйста. Его сожительницей — то же самое. Но тогда и ребенок будет его ребенком. Членом его семьи. А насчет земли… скажи, что я перепишу землю на него при условии, что дом останется за мной. Я стану арендаторшей его земли.

— Bywoner'шей[50].

— Bywoner'шей. Но дом, повторяю, будет моим. Никто не будет вправе войти в него без моего разрешения. Включая и Петраса. И псарню я тоже

---

[50] notes: 50

Bywoner — бурское слово, обозначающее бедного арендатора, который живет на чужой ферме, кормясь с возделываемой им земли и оказывая хозяину фермы какие-либо услуги.

оставляю за собой.

— Это нереально, Люси. Юридически нереально. Да ты и сама знаешь.

— Тогда что можешь предложить ты?

Она сидит перед ним в халате и шлепанцах, со вчерашней газетой на коленях. Свисают пряди волос, полнота ее выглядит рыхлой, болезненной. Люси приобретает все большее сходство с женщинами, которые, шаркая и бормоча себе что-то под нос, бродят по коридорам домов престарелых. Непонятно, зачем Петрасу трудиться, вступать с ней в переговоры. Долго она все равно не протянет: оставьте ее в покое, и в должный срок она сама упадет, как подгнивший плод.

— Я свое предложение сделал. Даже два.

— Нет, отсюда я не уеду. Сходи к Петрасу, передай ему то, что я сказала. Передай, что я отказываюсь от земли. Что он может ее получить, что я подпишу необходимые документы и так далее. Ему это понравится.

Какое-то время оба молчат.

— Как унизительно, — произносит он наконец. — Питать такие надежды и вот чем кончить.

— Да, согласна, унизительно. Но возможно, это хорошая отправная точка, чтобы начать все

сначала. Возможно, это то, с чем надо научиться мириться. Начать с нулевой отметки. С ничего. Нет, не с ничего. Без ничего. Без карт, без оружия, без собственности, без прав, без достоинства.

— Подобно собаке.

— Да, подобно собаке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Утро в разгаре. Он гуляет с бульдожихой Кэти. Странно, но Кэти не отстает от него — то ли он стал передвигаться медленнее, чем раньше, то ли она стала бегать быстрее. Сопит и пыхтит она не меньше прежнего, но это почему-то больше не раздражает его.

Подходя к дому, он замечает мальчишку — того самого, о котором Петрас сказал „из моего народа“, стоящего лицом к задней стене дома. Поначалу он решает, что тот мочится, затем вдруг понимает — мальчишка подглядывает через окошко ванной, подглядывает за Люси.

Кэти начинает порыкивать, но мальчишка слишком поглощен своим занятием, чтобы обращать внимание на что-либо еще. Когда мальчишка оборачивается, они уже подходят вплотную к нему. Открытой ладонью он бьет сопляка по лицу.

— Ах ты свинья! — орет он и бьет еще раз, так, что мальчишка пошатывается. — Грязная свинья!

Скорее от испуга, чем от боли, мальчишка

ударяется в бегство, но сразу же валится, запутавшись в собственных ногах. Собака немедля набрасывается на него. Зубы ее смыкаются на локте юнца; упираясь в землю передними лапами, она рычит и тянет его на себя. Мальчишка, вопя от боли, пытается высвободиться, лупит бульдожиху кулаком, но ударам его недостает силы и Кэти не обращает на них никакого внимания.

Слово еще висит в воздухе: „Свинья!“ Никогда прежде не ощущал он такой примитивной ярости. Он с радостью угостил бы юнца тем, чего тот заслуживает, — хорошей трепкой. Фразы, которых он всю свою жизнь избегал, вдруг начинают казаться ему правильными и справедливыми: „Преподай ему урок. Покажи его место“. Так вот на что это похоже! — думает он. Вот что такое злоба!

Он пинает юнца с такой силой, что того перекатывает на бок. Поллукс! Ну и имечко!

Собака переступает, упирается лапами в тело мальчишки, продолжая безжалостно тянуть его за руку, раздирая на нем рубашку. Мальчишка пытается отпихнуть ее, но она не сдвигается с места.

— Йя, йя, йя, йя, йя! — голосит от боли мальчишка. — Убью!

Тут появляется Люси.

— Кэти! — приказывает она.

Собака бросает на нее косой взгляд, но не подчиняется.

Упав на колени, Люси тянет бульдожиху за ошейник, мягко и настойчиво повторяя ей что-то. Собака неохотно разжимает зубы.

— С тобой все в порядке? — спрашивает Люси.

Мальчишка стонет от боли. Из носа его текут сопли.

— Убью! — всхлипывает он. Похоже, он вот-вот заплачет.

Люси заворачивает его рукав. Видны глубокие отметины собачьих клыков, капли крови выступают на черной коже.

— Пойдем-ка, это надо промыть, — говорит Люси. Мальчишка, втягивая носом сопли и слезы, трясет головой.

На Люси один лишь пеньюар. Когда она встает, поясок пеньюара развязывается, обнажая ее грудь.

В последний раз он видел груди дочери, когда те были скромными розовыми бутончиками шестилетки. Ныне они тяжелы, округлы, белы почти как молоко. Повисает тишина. Он смотрит, мальчишка тоже, бесстыдно. Ярость вновь заки-

пает в нем, застилая мглою глаза.

Люси отворачивается от них запахиваясь. Мальчишка одним быстрым движением вскакивает и отбегает за пределы досягаемости.

— Мы вас всех перебьем! — орет он. Затем разворачивается, нарочно пробегает, топча ее, по картофельной делянке, ныряет под проволочную изгородь и удаляется в направлении Петрасова дома. Вышагивает он уже с прежней самоуверенностью, хотя все еще придерживает пострадавшую руку здоровой.

Люси права — с ним что-то не так, неладно с головой. Озлобленный ребенок в юношеском теле. Но есть во всем происшедшем и еще кое-что, некая странность, ему непонятная. О чем думает Люси, почему она защищает этого сопляка?

Люси прерывает молчание.

— Так продолжаться не может, Дэвид. Я способна ужиться с Петрасом и его aanhanger'ами, способна ужиться с тобой, но уживаться со всеми сразу я не в состоянии.

— Он подглядывал за тобой через окно. Ты это понимаешь?

— Он дефективный. Дефективный ребенок.

— Это его извиняет? Извиняет то, что он с тобой сделал?

Губы Люси движутся, но произносимых ею слов он не слышит.

— Я ему не доверяю, — продолжает он. — Он хитер. Вроде шакала, слоняющегося вокруг, вынюхивая, выискивая возможность сделать какую-нибудь гадость. В прежнее время было хорошее слово для обозначения таких, как он. Недоделанный. Умственно недоделанный. Нравственно недоделанный. Его место в лечебнице.

— Говорить это безрассудно, Дэвид. Если тебе нравится так думать, пожалуйста, думай, но держи свои мысли при себе. В любом случае, что бы ты о нем ни думал, это ничего не меняет. Он здесь, он не растает в облачке дыма, он — реальный факт. — Щурясь от солнца, Люси смотрит ему прямо в лицо. Кэти, довольная собой и своими достижениями, негромко пыхтя, сворачивается клубком у ее ног. — Мы не можем так жить, Дэвид. Все уладилось, здесь было тихо и спокойно, пока не вернулся ты. Мне необходим покой. Я готова сделать все, что угодно, пойти на любые жертвы, лишь бы жить в покое.

— И я — часть того, чем ты готова пожертвовать?

Люси пожимает плечами.

— Ты сказал, не я.

— Ну что же, пойду укладываться.

После случившегося прошло уже несколько часов, а рука все еще ноет от ударов. Стоит ему вспомнить мальчишку с его угрозами, как он закипает от гнева. И в то же время ему стыдно. Он безоговорочно осуждает себя. Никакого урока он никому не преподал — и уж мальчишке-то во всяком случае. Он добился лишь одного — расширил пропасть, разделяющую его и Люси. Он предстал перед нею в конвульсиях страсти, и увиденное явно не пришлось ей по душе.

Ему следовало бы извиниться. Но он не может. Сдается, он утратил способность управлять собой. Что-то в Поллуксе приводит его в ярость: противные, мутные глаза мальчишки, его наглость, но также и мысль о том, что ему, словно сорной траве, было позволено переплестись корнями с Люси, с существованьем Люси.

Если Поллукс снова обидит дочь, он снова ударит его. Du musst dein Leben andern! — ты должен переменить свою жизнь. Люси, быть может, и готова склониться перед грозой; он — нет, если не хочет лишиться чести.

И вот почему надлежит прислушиваться к Терезе. Тереза, возможно, последняя, кому по силам спасти его. Тереза вне понятий о чести.

Она обнажает груди, подставляя их солнцу; она играет на банджо в присутствии слуг, не обращая внимания на их глупые ухмылки. Терезой правят бессмертные вожделения, и она их воспевает. Она не умрет.

В клинике он появляется как раз в тот миг, когда Бев Шоу покидает ее. Они обнимаются, неуверенно, точно чужие. И не скажешь, что не так давно они лежали нагие в объятиях друг дружки.

— Ты просто с визитом или вернулся, чтобы пожить здесь какое-то время? — спрашивает она.

— Вернулся, чтобы прожить здесь столько, сколько потребуется. Но не у Люси. У нас с ней что-то вроде несовместимости. Придется подыскивать комнату в городе.

— Мне очень жаль. Но что случилось?

— Между мной и Люси? Ничего, надеюсь. Ничего непоправимого. Проблема в людях, которые ее окружают. Когда к ним добавляюсь еще и я, нас становится слишком много. Слишком много людей в слишком малом пространстве. Вроде пауков в банке.

Его посещает образ из „Inferno“: гигантское Стигийское болото, в котором души варятся, точ-

но грибы. „Vedi l'anime di color cui vinse l'ira“[51]. Души, одолеваемые гневом, вгрызающиеся одна в другую. Наказание, достойное преступления.

— Это ты о мальчике, который перебрался на жительство к Петрасу? Должна сказать, что мне он тоже не нравится. Но пока там Петрас, Люси ничего не грозит. Вероятно, настало время, Дэвид, когда тебе следует отступиться и позволить Люси самой принимать решения. Женщины уживчивы. А она еще и молода. Да и к земле она живет ближе, чем ты. Чем любой из нас.

Люси уживчива? Что-то не заметил.

— Ты все повторяешь мне, чтобы я отступился, — говорит он. — Если бы я отступился в самом начале, что бы сейчас было с Люси?

Бев Шоу молчит. Возможно, в нем есть нечто такое, что способна, в отличие от него самого, разглядеть Бев Шоу. Животные доверяются ей — должен ли и он довериться тоже, позволить ей преподать ему урок? Да, животные доверяются ей, и она пользуется этим доверием, чтобы их убивать. Какой урок преподает это нам?

— Если бы я отступился, — запинаясь, продолжает он, — и на ферме произошел бы еще

---

[51] notes: 51

„Ты видишь тех, кого осилил гнев“ — цитата из „Божественной комедии. Ад. Песнь семнадцатая“ Данте Алигьери *(Пер. с итал. М. Лозинского).*

какой-нибудь кошмар, как бы я смог жить дальше?

Бев пожимает плечами.

— Разве вопрос в этом, Дэвид? — тихо спрашивает она.

— Не знаю. Я больше не знаю, в чем вопрос. У меня такое впечатление, что между поколением Люси и моим пал некий занавес. А я даже не заметил, как это произошло.

Наступает долгое молчание.

— Как бы там ни было, — продолжает он, — у Люси я оставаться не могу и потому ищу комнату. Если услышишь, что кто-то в Грейамстауне сдает жилье, дай мне знать. А вообще-то я зашел сказать, что снова могу помогать в клинике.

— Это замечательно, — говорит Бев.

Он покупает у знакомого Бев пикап грузоподъемностью в полтонны, за который расплачивается чеком на тысячу рандов и еще одним, на семь тысяч рандов, датированным концом нынешнего месяца.

— Кого вы на нем возить-то будете? — спрашивает продавец.

— Животных. Собак.

— Тогда вам надо поставить сзади решетку, чтобы они не выпрыгивали. Я знаю человека,

который ставит такие.

— Мои не повыпрыгивают.

Согласно документам, грузовичку уже двенадцать лет, однако звук у двигателя ровный. И к тому же, говорит он себе, от пикапа вовсе не требуется, чтобы он протянул целую вечность. Целую вечность никто тянуть не обязан.

Поместив объявление в „Грокоттс мэйл“, он снимает комнату невдалеке от больницы. Отдает плату за месяц вперед, сообщает хозяйке, что его зовут Лоури и что он приехал в Греиамстаун для амбулаторного лечения. От чего ему предстоит лечиться, он не говорит, но знает — хозяйка думает, что от рака.

Деньги текут как вода. Ну и пусть их.

В туристском магазине он покупает кипятильник, маленькую газовую плитку, алюминиевый котелок. Поднимаясь с ними к себе, он сталкивается на лестнице с хозяйкой.

— Мы не разрешаем готовить в комнатах, мистер Лоури, — говорит хозяйка. — Упаси бог, пожар приключится.

Комната темная, душная, в ней слишком много мебели, матрас комковат. Ничего, свыкнется и с этим, как свыкся со всем остальным.

Кроме него, в доме только один жилец, школь-

ный учитель в отставке. За завтраком они обмениваются приветствиями, но в остальное время не разговаривают. После завтрака он отправляется в клинику и проводит там весь день, каждый день, включая и воскресенья.

Клиника становится его домом в большей мере, чем пансион. Он устраивает себе на голом заднем дворе подобие гнездышка: стол, полученное от супругов Шоу старое кресло и пляжный зонт — на случай, если солнце чересчур разгуляется. Сюда же он притаскивает и газовую плитку, чтобы заваривать чай и разогревать консервы: спагетти с тефтелями, макрель с луком. Дважды в день он кормит животных, чистит их клетки, а иногда и разговаривает с ними; прочее время читает, или дремлет, или, когда остается совсем один, наигрывает на банджо музыку, сочиненную им для Терезы Гвиччиоли.

Такой и будет теперь его жизнь — пока не родится ребенок. Как-то утром он поднимает взгляд и видит лица трех мальчишек, разглядывающих его поверх бетонного забора. Он вылезает из кресла; собаки разражаются лаем; мальчишки ссыпаются с забора и с восторженным гиканьем удирают. Будет им что порассказать дома о сумасшедшем пожилом мужике, который сидит в

окружении собак и поет!

Да уж, мужик, ничего не скажешь. Как сможет он объяснить — им, их родителям, жителям района Д, — чем заслужили Тереза с ее любовником возвращение в этот мир?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В белой ночной сорочке стоит у окна спальни Тереза. Глаза ее закрыты. Самый темный час ночи. Она глубоко дышит, впивая шуршание ветра, взревы гигантских лягушек.

„Che vuol dir, — поет она голосом, ненамного более громким, чем шепот. — Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io, — поет она, — che sono?“[52]

Молчание. Solitudine immensa не дает ответа. Даже трио в углу сидит тише мыши.

„Приди! — шепчет она. — Приди, молю тебя, Байрон!“

Она раскидывает руки, обнимая мрак, обнимая то, что несет ей мрак.

Тереза жаждет, чтобы он пришел вместе с ветром, чтобы он обволок ее, зарылся лицом в ложбинку между ее грудей. Или же чтобы он явился ей на заре, богом-солнцем восстав над горизонтом, облив ее теплом своего сиянья. Пусть придет когда захочет, но только придет. Сидя за столом на собачьем дворе, он вслушивается в спа-

---

[52] notes: 52

О чем говорит это огромное одиночество? А я — кто я? *(итал.).*

дающую по долгой дуге мольбу противостоящей мраку Терезы. Для нее это худшее время месяца, она изболелась, не способна сомкнуть глаз, вожделение изнурило ее. Она жаждет избавления — от боли, от летнего зноя, от виллы Гамба, от дурного нрава отца, от всего.

Тереза берет лежащую в кресле мандолину. Нянча ее, как дитя, она снова подходит к окну. Трень-брень, — произносит в ее руках инструмент, тихо, чтобы не разбудить отца. Брень-трень, — громко клекочет банджо — в Африке, на пустынном дворе.

„Чтоб было чем голову занять“, — так он сказал Розалинде. Ложь. Опера больше не хобби, теперь уже нет. Она владеет им днем и ночью.

И все-таки, несмотря на несколько удачных мест, „Байрон в Италии“, если сказать правду, топчется на месте. В опере нет действия, нет развития, это лишь растянутая, спотыкающаяся кантилена, изливаемая Терезой в пустынный воздух и время от времени перемежающаяся стонами и вздохами скрытого кулисами Байрона. Муж и соперница забыты, словно их и не было никогда. Лирический порыв в нем, быть может, и не угас, но после десятилетий, проведенных на голодном пайке, порыв этот способен выползать

из своего укрытия лишь изможденным, чахлым, обезображенным. Ему не хватает музыкальных средств, не хватает запасов энергии, чтобы свести „Байрона в Италии“ с унылого пути, по которому тот потащился с самого начала. Опера обратилась в нечто такое, что мог бы сочинить лунатик.

Он вздыхает. Как хорошо было бы с триумфом вернуться в общество автором небольшой эксцентричной камерной оперы. Но этого не случится. Ему надлежит держаться надежды более скромной: что из сумбура звуков внезапно взовьется единственная точная нота, равновеликая бессмертному вожделению. А что касается ее опознания, им пусть займутся ученые будущего, если в будущем еще сохранятся ученые. Ибо сам он, когда эта нота прозвучит, если она вообще прозвучит, ее не расслышит — он слишком много знает об искусстве и о приемах искусства, чтобы на это рассчитывать. Хотя неплохо было бы, если б Люси еще успела услышать пробное исполнение и стала бы думать о нем чуть лучше.

Бедная Тереза! Бедная измученная девочка! Он выманил ее из могилы, пообещав ей новую жизнь, — и подвел. Он надеется, что ей достанет сердечной доброты, чтобы простить его.

Среди сидящих по клеткам собак есть одна, к

которой он особенно привязался. Это молодой кобелек с парализованной левой задней лапой, которую песик приволакивает. От рождения ли она такова, он не знает. Никто из посетителей не изъявляет желания взять его. Пробный срок песика почти уж истек, скоро ему предстоит свести знакомство с иглой.

По временам, усаживаясь читать или писать, он выпускает кобелька из клетки, позволяя бедолаге поскакать, смешно ковыляя, по двору или вздремнуть у его ног. Пес не „его“ в каком бы то ни было смысле; он осмотрительно не стал давать ему кличку (впрочем, Бев зовет его Дрипут), тем не менее он ощущает исходящую от пса великодушную преданность. Он оказался избранным — без спросу, безо всяких условий; он знает — пес готов умереть за него.

Звуки банджо завораживают кобелька. Когда он перебирает струны, тот садится, наклоняет голову, слушает. Когда же он напевает тему Терезы и голос его от прилива чувств возвышается (гортань словно бы сдавливается, он ощущает биение крови в горле), пес причмокивает и, кажется, тоже вот-вот запоет — или завоет.

Осмелится ли он сделать это: вставить пса в оперу, позволить ему вознести между строфами

брошенной Терезы собственные жалобы к небесам? Почему бы и нет? Разве в творении, которое никогда не будет исполнено, не дозволено все?

Субботними утрами он по договоренности с Люси приходит на Донкин-сквер, чтобы помочь ей в торговле. Потом они завтракают вдвоем.

Люси теперь движется медленно. Беременность ее не бросается в глаза, однако если *он* замечает признаки таковой, много ль пройдет времени, прежде чем остроглазые дочери Грейамстауна также заметят их?

— Как там дела у Петраса? — спрашивает он.

— Дом достроен, остались лишь потолки и водопровод. Они сейчас переезжают.

— А их отпрыск? Он ведь должен вот-вот появиться.

— На той неделе. Все рассчитано точно.

— Петрас больше не подкатывался к тебе ни с какими намеками?

— Намеками?

— Ну, насчет тебя. Насчет твоего места в его планах.

— Нет.

— Возможно, когда ребенок… — он делает еле приметный жест в сторону дочери, в сторону ее живота, — когда появится ребенок, все пе-

ременится. В конце концов, он будет здешним уроженцем. Уж этого-то никто отрицать не станет. Долгое молчание.

— Ты его уже любишь?

Хотя эти слова слетают с его собственных губ, они его удивляют.

— Ребенка? Нет. Да и как я могу? Но полюблю. Любовь подрастает — в этом на матушку-природу положиться можно. Я намереваюсь стать хорошей матерью, Дэвид. Хорошей матерью и хорошим человеком. Тебе тоже стоило бы попробовать стать им.

— Боюсь, для меня поздновато. Я всего-навсего рецидивист, отбывающий срок. Но ты не сдавайся, двигайся к цели. Ты уже основательно приблизилась к ней.

„Хорошим человеком“. Не худшее из решений, в смутные-то времена.

По безмолвному их уговору он на какое-то время перестал приезжать на ферму. И все же в один из будних дней он выезжает на кентонскую дорогу, оставляет грузовичок у поворота и проходит остаток пути пешком, не по дороге, но по вельду, срезая путь.

С вершины последнего холма открывается вид на ферму: изначальный, еще сохранивший

внушительность облика дом, конюшни, новое жилище Петраса, старая насыпь, на которой различаются пятнышки — скорее всего, утки, а пятнышки покрупнее — это дикие гуси, навещающие Люси гости издалека.

На таком расстоянии цветники выглядят прямоугольниками слитных цветов: пурпура, сердолика, пепельной голубизны. Пора цветения. Пчелы, должно быть, на седьмом небе от счастья.

Петраса не видно, как и жены его, и живущего у них шакаленка. Зато видна Люси, которая возится с цветами, а начав спускаться по склону холма, он различает и бульдожиху — желтовато-коричневую заплатку на дорожке позади дочери.

Он доходит до изгороди, останавливается. Люси, к которой он подошел со спины, его пока не заметила. На ней выцветшее летнее платье, сапоги, широкая соломенная шляпа. Когда она наклоняется, что-то там подрезая, выдергивая или подвязывая, становится видна млечная в голубоватых прожилочках кожа и широкие, беззащитные сухожилия подколенных впадин — самой некрасивой части женского тела, наименее выразительной и потому, возможно, наиболее милой.

Люси распрямляется, потягивается, наклоняется снова. Полевые труды, крестьянские хлопоты, все это бессмертно. Его дочь понемногу становится крестьянкой.

Она все еще не замечает его присутствия. Что касается ее сторожевой собаки, та, по всему судя, дрыхнет.

Итак: некогда Люси была не более чем головастиком в теле матери, теперь же — вот она, женщина, основательно вросшая в жизнь, куда основательнее, чем это когда-либо удавалось ему. Если ей улыбнется удача, она проживет долго, гораздо дольше, чем он. Когда он умрет, дочь, если ей улыбнется удача, будет все еще здесь, среди цветов, будет предаваться привычным трудам. И из нее явится на свет новое существо, которое, если *ему* улыбнется удача, вырастет таким же основательным, таким же долголетним. Так она и станет длиться, линия жизни, в которой его доля, его вклад будет с неотвратимостью все уменьшаться и уменьшаться, пока о нем не забудут.

Дедушка. Иосиф. Ну кто бы подумал! Можно ли ожидать, что найдется смазливая девушка, которую удастся склонить к тому, чтобы она легла с дедушкой в постель?

Он негромко произносит имя дочери:

— Люси!

Люси не слышит.

Что оно влечет за собой, положение деда? Отец из него получился не самый удачный, даром что он старался поболее многих. Скорее всего, и дедом он окажется ниже среднего. Нет у него стариковских достоинств: невозмутимости, доброты, терпения. Но, возможно, эти достоинства приобретаются, как и другие: достоинство страсти, к примеру. Надо будет еще разок заглянуть в Виктора Гюго, поэта дедовства. Быть может, у него найдется чему поучиться.

Ветер стихает. Наступает мгновение полной тишины, хорошо бы оно продлилось навек: нежное солнце, послеполуденная безмятежность, пчелы, снующие средь цветов, а в центре картины — молодая женщина, das ewig Weibliche[53], в первой поре беременности, в соломенной шляпе. Сцена, будто созданная для Сарджента или Боннара. Ребята они городские, как и он, но даже горожанин способен распознать красоту, когда видит ее, даже у него может перехватить дыхание.

Правда состоит в том, что сколько он ни читал Вордсворта, особого вкуса к сельской жизни так

---

[53] notes: 53
Вечная женственность *(нем.)*.

и не приобрел. Да, собственно, и ни к чему иному, за вычетом смазливых девушек — и куда они его завели? Быть может, ему еще не поздно образовать свой вкус?

Он откашливается.

— Люси, — зовет он, на этот раз погромче. Чары разрушены. Люси выпрямляется, полуоборачивается, улыбается.

— Привет, — говорит она. — А я и не слыхала, как ты подошел.

Кэти, подняв голову, близоруко щурится в его сторону.

Он перелезает через изгородь. Кэти ковыляет к нему, обнюхивает туфли.

— А где грузовичок? — спрашивает Люси. Она разрумянилась от работы и, может быть, слегка загорела. Удивительно, но Люси снова пышет здоровьем.

— Оставил при дороге, решил пройтись.

— Зайдешь, выпьешь чаю?

Она предлагает ему чаю, как обычному гостю. И хорошо. Гостевание, гощение — новая отправная точка, новое начало.

Опять воскресенье. Он и Бев заняты очередным Losung. Одну за другой он приносит кошек, потом собак: дряхлых, ослепших, охромелых, увечных,

искалеченных, но также и молодых, здоровых — всех тех, кому приспели сроки. Одну за другой Бев гладит их, разговаривает с ними, утешает — и усыпляет их, а после стоит и смотрит, как он запечатывает останки в черный пластиковый саван.

Они с Бев молчат. Он уже научился — от нее — сосредоточивать все внимание на животном, которое они убивают, давая несчастному то, что он, не испытывая теперь неловкости, называет так, как и должно называть: любовь.

Завязав последний мешок, он оттаскивает его к двери. Двадцать три. Остался лишь молодой кобелек, любитель музыки, тот, который, дай ему хоть полшанса, уже приковылял бы вслед за товарищами в здание клиники, в хирургическую с ее цинковым столом, с еще стоящей в воздухе смесью густых запахов, включая и тот, с которым псу пока сталкиваться не приходилось, — запах конца, легкий, нестойкий запах отлетающей души.

Чего пес не сможет уразуметь („Даже за месяц, состоящий из одних воскресений!“ — думает он), чего его нюх ему не расскажет, так это того, как можно войти в обычную с виду комнату и никогда из нее не выйти. Что-то в ней происходит, что-то несказуемое: здесь душу выдирают из

тела, и на краткое время она повисает в воздухе, скручиваясь, искажаясь, а после ее затягивает в трубу — и все. Это выше его понимания — комната, являющаяся вовсе не комнатой, но дырой, сквозь которую ты вытекаешь вон из бытия.

„С каждым разом становится все тяжелее“, — сказала однажды Бев. Тяжелее, да, но и легче тоже. Человеку свойственно привыкать к тому, что какие-то вещи становятся все тяжелее; когда бывшее таким уж тяжелым, что дальше вроде и некуда, обретает еще большую тягость. Это его уже не дивит. Он может, если захочет, даровать молодому псу еще неделю жизни. Но все равно настанет время, никуда от него не денешься, когда придется привести пса к Бев Шоу в хирургическую (возможно, он принесет его на руках, возможно, сделает для него это) и гладить его, раздвигая волосы, чтобы игле было легче найти вену, и шептать ему на ухо, поддерживая пса в миг, в который тот, так ничего и не поняв, вытянет лапы; а после, когда отлетит душа, сложить эти лапы, и запихать пса в мешок, и на следующий день вкатить мешок в огонь и присмотреть, чтобы тот загорелся, сгорел. Он сделает все это для пса, когда настанет срок. Не так уж и много — меньше, чем немного: совсем ничего. Он пере-

секает хирургическую.

— Это был последний? — спрашивает Бев.

— Остался еще один.

Он открывает дверцу клетки.

— Пойдем, — говорит он, и наклоняется, и раскрывает объятия. Пес, виляя увечным задом, обнюхивает его лицо, облизывает щеки, губы, угли. Он не отстраняется. — Пойдем.

Неся кобелька на руках, как ягненка, он входит в хирургическую.

— Я думала, ты позволишь ему пожить еще неделю, — говорит Бев. — Решил поставить на нем крест?

— Да, решил поставить крест.